

Павел Николаевич Милюков

Воспоминания (1859–1917)

(Том 2)

Часть седьмая

Государственная деятельность

(1907–1917)

1. Физиономия Третьей государственной Думы

Первая русская революция закончилась государственным переворотом 3 июня 1907 года: изданием нового избирательного «закона», который мы, кадеты, не хотели называть «законом», а называли «положением». Но провести логически это различие не было, однако, возможности: здесь не было грани. Если гранью считать манифест 17 октября, то «положением», а не «законом», были уже, в сущности, «основные законы», изданные перед самым созывом Первой Думы: это уже был первый «государственный переворот». Тогда и теперь победили силы старого порядка: неограниченная монархия и поместное дворянство. Тогда и теперь их победа была неполная, и борьба между старым, отживавшим правом и зародышами

нового продолжалась и теперь, только к одной узде над народным представительством прибавлялась другая: классовый избирательный закон. Но и это было, опять, только перемирие, а не мир. Настоящие победители шли гораздо дальше: они стремились к полной реставрации.

Если борьбе суждено было продолжаться в том же направлении в порядке нисходящей кривой, то на этом новом этапе она должна была происходить между самими победителями. Равновесие между ними, достигнутое «положением» 3 июня, должно было оказаться временным. Так оно и случилось. Уже роль самого Столыпина в разгоне Второй Думы и в спешном проведении дворянского избирательного закона была диссонансом в победе правых. Для него переход от министерских комбинаций с «мирнообновленцами» к «союзу русского народа», покровительствуемому Двором, был уже слишком резок. В попытках создания собственной партии он унаследовал от гр. Витте союз с «октябристами», самое название которых уже было политической программой. И условием созыва Третьей Думы, естественно, явилось проведение этих его союзников в Думу в качестве ее руководителей и членов правительственного большинства. Но октябристы были группой, искусственно созданной при участии правительства. Даже по «положению»

3 июня они не могли быть избраны в достаточном количестве без обязательной поддержки более правых групп, тоже искусственно созданных на роли «монархических» партий (см. выше).

По положению 3 июня выборы оставались многостепенными, но количество выборщиков, посылавших депутатов в Государственную Думу на последней ступени, в губернских съездах было так распределено между различными социальными группами, чтобы дать перевес помещному дворянству¹.

Так, с прибавкой из городов, были проведены в Думу 154 октябриста (из 442). Чтобы составить свое большинство, правительство своим непосредственным влиянием выделило из правых группу в 70 человек «умеренно-правых». Составилось неустойчивое большинство в 224. К ним пришлось присоединить менее связанных «националистов» (26) и уже совсем необузданных черносотенцев (50). Так создана была группа в 300 членов, готовых подчиняться велениям

¹ Каждые 230 земельных собственников посылали в это собрание одного выборщика, тогда как торгово-промышленный класс был представлен одним выборщиком на 1.000, средняя буржуазия — одним на 15.000, крестьяне — одним на 60.000 и рабочие — одним на 125.000 (Прим. автора).

правительства и оправдывавших двойную кличку Третьей Думы: «барская» и «лакейская» Дума. Как видим, большинство это было искусственно создано и далеко не однородно. Если Гучков мог сказать, в первых же заседаниях Думы, что «тот государственный переворот, который совершен был нашим монархом, является установлением конституционного строя», то его обязательный союзник Балашов, лидер «умеренно-правых», тут же возразил: «Мы конституции не признаем и не подразумеваем под словами: «обновленный государственный строй». А другой лидер той же группы, гр. Вл. Бобринский получавший жалованье от правительства, заявил — более откровенно, — что «актом 3 июня самодержавный государь явил свое самодержавие». Другие платные депутаты на ролях скандалистов, Пуришкевич, П. Н. Крупенский, Марков 2-й, могли вести борьбу за полную реставрацию, опираясь на придворные круги и не считая себя ничем связанными. Сам Столыпин в интервью для правительственного официоза «Волга» заявил, что установленный строй есть «чисто-русское государственное устройство, отвечающее историческим преданиям и национальному духу», и что Думе ничего не удалось «урвать из царской власти». Общим лозунгом, приемлемым для всей этой части Думы, оставался лозунг Гучкова: лозунг «национализма» и

«патриотизма».

Не было, однако, в этой Думе единства и в рядах побежденных, — хотя бы в той степени, в какой, с грехом пополам, оно все же сохранялось в двух первых Думах. Там мы могли считать, что в борьбе с самодержавием была побеждена вся «прогрессивная» Россия. Но теперь мы знали, что побежденных был не один, а двое. Если мы боролись против самодержавного права за конституционное право, то мы не могли не сознавать, что против нас стоял в этой борьбе еще один противник — революционное право. И мы не могли, по убеждению и по совести, не считать, что самое слово «право» принадлежит нам одним. «Право» и «закон» теперь оставались нашей специальной целью борьбы, несмотря ни на что. «Революция» сошла со сцены, но — навсегда ли? Ее представители стояли тут же, рядом. Могли ли мы считать их своими союзниками? Нашими союзниками, хотя бы и временными, они себя не считали. Их цели, их тактика были и оставались другие. После тяжелых уроков первых двух Дум с этим нельзя было не сообразоваться. Я говорил, что уже во Второй Думе конституционно-демократическая партия совершенно эмансипировалась от тех отношений «дружбы-вражды», которыми она считала себя связанной в Первой Думе. В Третьей Думе

разъединение пошло еще дальше.

По самой идее Третьей Думы, в ней не должна была предполагаться наличность оппозиции. И на выборах правительство все сделало, чтобы ее не было. Избирательные коллегии тасовались так, чтобы надежные выборщики майоризировали ненадежных. Нежелательные элементы и не «легализированные» партии преследовались местными властями, не допускались к участию в выборах и т. д.

И, однако же, оппозиция проникла в Думу через ряд щелей и скважин, оставленных — как бы в предположении, что для полноты представительного органа какая-то оппозиция все же должна в нем присутствовать. Прежде всего, имелась на лицо целая партия, легализированная Столыпиным, но не связанная с правительством договором, вроде Гучковского: партия, назвавшая себя теперь «прогрессистами». Зерно ее составляли те «мирнообновленцы», из которых Столыпин выбирал когда-то кандидатов в министры. Они были конституционалистами неподдельными, и от времени до времени, уже в Думе поднимали вопрос об организации «конституционного центра». Но октябристам с ними было не по дороге, и скоро их потянуло в обратную сторону. К ним, напротив, стали присоединяться отдельные более последовательные политически октябристы,

недовольные своими, но не желавшие все же леветь до кадетов. И фракция прогрессистов, единственная, уже в Думе возросла с 23 до 40 членов, оставаясь тем более рыхлой, неопределенной и недисциплинированной. Ход событий постепенно сблизил ее с кадетами; но это лишь развивало в ней стремление сохранить свою независимость и самостоятельность. В результате, от времени до времени, от них, как я уже замечал раньше, можно было ждать политических сюрпризов — вплоть до желания «перескочить» через к.д. влево.

Роль настоящей оппозиции, идейно-устойчивой и хорошо организованной, при таком положении сохранилась за партией Народной свободы. Самый способ выборов делал фракцию партии естественным рупором общественного мнения. В пяти главных городах России (Москве, Петербурге, Киеве, Одессе, Риге) не только сохранились прямые выборы, но положение 3 июня даже расширило избирательное право на квартиронанимателей. Правда, и тут избиратели были распределены неравномерно между двумя куриями: в первую были включены очень немногочисленные крупные плательщики налога²,

² Владельцы более крупных недвижимых имуществ и торгово-промышленных предприятий. (Примеч. ред.).

тогда как во вторую входила остальная масса, владевшая сравнительно умеренным квартирным цензом.

По такому цензу прошел, наконец, и я в Думу. Не только не делалось на этот раз препятствий моему выбору, но, по слухам, до меня дошедшим, Крыжановский решил, что лучше иметь меня внутри Думы, нежели вне ее (то есть в качестве тайного инспиратора, каким меня считали раньше). Такой характер выборов по второй курии делал возможным вести публичную избирательную кампанию и защищать партийную программу в открытом споре с политическими противниками. Успех был настолько очевиден, что и первая курия принуждена была последовать нашему примеру — с тем результатом, что местами, вместо октябристов и правых, там тоже стали проходить наши кандидаты.

Политическая деятельность фракции вне Думы не ограничилась предвыборными собраниями; она, в свою очередь, оживила деятельность партии. Петербург и Москва были и ранее разделены на районы, по которым организовались районные комитеты зарегистрированных членов партии. Думская работа фракции дала им живой материал для

организации периодических публичных выступлений с участием «неприкосновенных» членов фракции. Особое оживление придавал нашим собраниям свободный доступ, открытый нами для представителей других политических течений, и состязательный Характер прений.

Правые, к нашему удовольствию, нас игнорировали и не вносили к нам своей черносотенной пропаганды, понимая, что наша публика не отнеслась бы терпимо к их присутствию. Не приходили к нам и официальные представители левых, не желая, очевидно, уронить свое достоинство. Зато рядовых левых ораторов, готовых сразиться с нами, было сколько угодно; ими обыкновенно заполнялся список выступавших у нас ораторов. Нельзя сказать, чтобы с ними было трудно сражаться. Мы были сильны, прежде всего, знанием дела и серьезностью трактовки; они, обычно, не шли дальше знакомства с брошюрной литературой, вносили много страсти в прения, но нашей публики не убеждали и выносили, в своей обработке, только то, что им нужно было для пропаганды. Для примера, приведу два эпизода со мной лично, ставшие ходячими аргументами против к.д. Я как-то сказал, взяв сравнение из боя быков, что не следует в борьбе дразнить красной тряпкой. В левом толковании это значило, что я оскорбил знамя социализма.

В другой раз, мой пример, взятый из известной басни Лафонтена, оказался еще более рискованным. Я сказал, что нельзя, следуя чужим советам, носить на себе осла. К «ослу» прибавили эпитет «левого», и вышло очень пикантно: я, значит, назвал социалистов «левыми ослами». Отсюда, конечно, следовал вывод о моем социалистоедстве. О других эпизодах скажу позже. Такого рода «прения» вести было нетрудно: они даже приносили пользу, развлекая публику. В одном только районе Петербурга, в рабочем Выборгском квартале, мы встречали сильное психологическое сопротивление аудитории. Там выступал против нас студент, «товарищ Абрам» — впоследствии советский «главнокомандующий» Крыленко, покончивший с Духониным, — он же и прокурор, предшественник Вышинского. С легким багажом выученных назубок грошовых брошюр, с хорошо подвешенным языком, он с невероятным апломбом разбивал наши аргументы. Рабочая публика гоготала, и нашим ораторам говорить было трудно. Но вообще городская демократия «торговых служащих» была на нашей стороне, и мы и из таких боев как-то выходили целы.

Наряду с публичными выступлениями, фракция энергично действовала и через печать. После каждой годичной сессии Думы фракция издавала очередной отчет о своей деятельности.

Мне в этих отчетах обычно принадлежали отделы о тактике фракции в связи с общим политическим положением, о вопросах конституции и государственного права, о внутренней и внешней политике, о национальных вопросах. Это были те главные темы, на которые мне приходилось выступать и в Думе. Вторая половина каждого отчета заключала в себе наиболее важные речи членов фракции, произнесенные в Думе. Я очень жалею, что этих отчетов нет у меня перед глазами, чтобы развернуть полнее эту часть моих воспоминаний.

Я не останавливаюсь здесь на роли нашей газеты «Речь», которую мы не объявляли формально партийным органом, но распространение которой повсюду в России, конечно, сделало больше для популяризации наших взглядов, чем все остальные способы публичной деятельности фракции.

Наши два репортера, излагавшие стенографические отчеты думских заседаний и передававшие впечатления о повседневной думской жизни, Л. М. Неманов и С. Л. Поляков-Литовцев, приобрели себе на этой работе всероссийское имя, и наше истолкование смысла думской работы в передовицах «Речи» и московской «профессорской» газеты «Русские ведомости» сплотило около нас значительную часть читающей

России.

Но пора вернуться к другим частям «оппозиции» в Третьей Государственной Думе. Национальные группы — польская, польско-литовская, белорусская, мусульманская — заняли своеобразное положение между оппозицией и правительственным большинством. Я уже говорил о своем осторожном отношении к национальному вопросу в Первой Думе. Но там национальности, в ожидании общего освобождения, еще связывали свое дело с общерусским — и разместились между русскими политическими фракциями.

Уже во Второй Думе, разочаровавшись в исходе русской политической борьбы, они несколько отодвинулись от общерусского дела, все же оставаясь демократически-настроенными. Они поплатились за эти настроения потерей большей части своих мандатов. Положение 3 июня уменьшило число польских депутатских мест с 37 до 19, число депутатов от азиатских народностей с 44 до 15, кавказских — с 29 до 10. На это ограниченное количество мест пришли депутаты, более консервативно настроенные — и обособились в отдельные группы от русских. Голосуя часто с оппозицией, они, в особенности поляки, не хотели однако разрывать с правительством. Резкое исключение составляли кавказцы — именно

грузинские депутаты, заполнившие крайне-левые скамьи социал-демократической фракции. Не разделяя ни клерикально-феодальных, ни буржуазных тенденций других народностей, они считали себя частью общерусской социал-демократии, вместе с ней участвовали во Втором Интернационале и, именно благодаря своим интернациональным стремлениям, могли вести совместную с русскими с.-д. борьбу за создание общего «социалистического отечества». Дробление больших государственных единиц на мелкие национальные государства всегда вызывало противодействие социал-демократии. Все это объясняет, почему Гегечкори, Чхеидзе и др. оказались чуть не единственными представителями русской с.-д. фракции, вообще немногочисленной (14 депутатов). Это же объясняет и их полную обособленность от русских фракций думской оппозиции, и их, неучастие в общей думской работе. Между ними и фракцией к. д. поместилась столь же немногочисленная группа «трудовиков» (14), по традиции считавшаяся социал-революционерами. Но в Третьей Думе она была самая бесцветная и состояла почти исключительно из крестьян с низшим или домашним образованием. Она ждала своего вождя, — и это вакантное место позднее занял А. Ф. Керенский, поведший такую линию

поведения, какую хотел.

Такова была обстановка, в которой кадетской фракции предстояло действовать в Третьей Думе.

2. Кадеты в Третьей Думе

Что для кадетской фракции есть место и в «господской» и «лакейской» Думе третьего июня, в этом, конечно, не могло быть для меня никакого сомнения. Я был в этом отношении наименее непримиримым из наших «лидеров». Советовал же я идти на выборы даже в Булыгинскую Думу — и боролся против бойкота Первой Думы. Я всегда верил, что самая идея народного представительства, хотя бы искаженного, носит в себе зародыши дальнейшего внутреннего развития. И мне было яснее многих, что общественный подъем 1905 года носил временный характер. Что, собственно, изменилось с тех пор?

Движение пошло на убыль, и вместе с ним линия борьбы отодвинулась далеко назад. Но ведь наши прежние успехи были только кажущимися и лишь на короткий срок замаскировывали действительное положение дела. Спала волна, и Государственная Дума оказалась той же калеккой, какой делали ее с самого начала основные законы, урезавшие со всех сторон права народного

представительства, и существование Государственного Совета, который мы сами называли «пробкой» и «кладбищем» думского законодательства.

Теперь борьба вернулась к этой самой неприкосновенной китайской стене, и по необходимости приобретала иные, более скрытые формы. Мы принесли с собой и в Третью Думу ковчег нашего нового завета, — программу адреса Первой Думы. Но обращаться с ним приходилось более осторожно. Только в Четвертой Думе мы вынули оттуда, и то лишь в демонстративном порядке, наши законопроекты гражданских свобод, и только тогда, при изменившихся условиях, можно было вновь заговорить об ответственности исполнительной власти перед законодательной и об изменении избирательного закона. В ожидании, нам приходилось вести в Третьей Думе черную, будничную работу, наблюдая лишь, чтобы, по крайней мере, не приходили в забвение уже приобретенные Думой права и чтобы не был забыт вложенный в них политический смысл.

И, в этом отношении, даже и описанный только что состав «господской» Думы открывал некоторые перспективы. Самая неустойчивость к пестрота правительственного большинства обещала внутренние передвижки; перемирие и там было только временное, и ни одна из искусственно

склеенных сторон не могла считать свою конечную цель достигнутой. Но низкий уровень, на котором состоялось это временное перемирие с властью, обещал больше прочности и длительности, чем та высота, на которую мы хотели взвинтить политические достижения Первой Думы. Вместе с Третьей Думой мы, во всяком случае, выигрывали время для того закрепления самого факта существования народного представительства, на котором я всегда настаивал: мы могли обещать себе не месяцы, а годы новой отсрочки. В ожидании внутридумская деятельность становилась, тем «будничным» явлением, о котором я писал, как о первом условии признания представительного органа неотъемлемой чертой русской действительности.

Однако, резко изменившиеся условия должны были сопровождаться — уже в третий раз — коренным изменением как состава, так и тактики думской фракции партии Народной свободы. Казалось давно прошедшим то время, когда мы потеряли 120 «выборжцев», лишенных избирательных прав. Жест, который в других условиях был бы историческим, уже на нашем съезде в Териоках звучал диссонансом. На процессе, который кончился тюремным сиденьем, наши старшие друзья не защищались, а обвиняли; но правительство намеренно избегало

принципиальной постановки вопроса; и обвинение, и приговор были сравнительно легкие. События быстро стерли память о принесенной жертве, и во Вторую Думу прошли уже кадеты другого типа: специалисты-профессора, составившие образцовые проекты конституционного законодательства, которым не суждено было осуществиться. Отошла и эта группа. В Третьей Думе сидели кадеты, распределившие между собою деловую работу в думских комиссиях.

Мы всегда считали комиссионную работу главной задачей государственной деятельности; но впервые мы получили для нее необходимый досуг и практический материал. Впервые выдвинулся на первое место А. И. Шингарев, бывший уездный врач и земец, и быстро овладел вопросами государственного бюджета, сделавшись постоянным оппонентом министра финансов В. Н. Коковцова.

В. А. Степанов специализировался на рабочем законодательстве и внес свой вклад в комиссионную обработку законопроектов по коренным вопросам этого законодательства, хотя и застрявшим в Третьей Думе. Н. В. Некрасов, другой молодой депутат с крупным, хотя и неожиданным для фракции будущим, сосредоточился на железнодорожных вопросах. Н. Н. Кутлер, перешедший во фракцию с министерской скамьи,

консультировал фракцию по вопросам финансовым. Важнейший из социальных вопросов, усвоенный Столыпиным в дворянской окраске и уже проведенный первоначально во время междудумья в порядке внедумского законодательства по статье 87, встретил серьезное сопротивление со стороны того же А. И. Шингарева и пишущего эти строки.

На мою долю выпали, в качестве председателя фракции, выступления не только по важнейшим вопросам конституционно-политического характера, но и вообще по всем вопросам, для которых не находилось подготовленных работников. Помню, мне даже пришлось произнести первую речь по бюджету, так как Кутлер от нее отказался, — быть может, в виду своих свежих еще министерских связей, — а Шингарев еще не успел ориентироваться в этой области. Я участвовал в коммиссионных работах и выступал на общих собраниях по церковным, старообрядческим и сектантским вопросам, по проектам народного образования и авторского права, по вопросам внутренней политики и по национальным вопросам; но главной моей специальностью сделались вопросы иностранной политики, в которых у меня не было конкурента при тогдашнем общем неведении в этой области. Правда, у меня были сильные помощники, в особенности в лице Ф. И. Родичева и

В. А. Маклакова. Ф. И. Родичев обладал совершенно исключительным даром красноречия; но его горячий темперамент часто выводил его за пределы, требовавшиеся фракционной дисциплиной и политическими условиями момента. В национальных вопросах он был убежденным полонофилом, что не всегда оправдывалось политикой самих поляков в русских государственных учреждениях. Он также не вполне разделял взгляды фракции по аграрному вопросу. В. А. Маклаков был несравненным и незаменимым оратором по тонкости и гибкости юридической аргументации; но он выбирал сам выступления, наиболее для себя казовые, и, с своей стороны, фракция не всегда могла поручать ему выступления по важнейшим политическим вопросам, в которых, как мы, знали, он не всегда разделял мнения к. д.

Что касается нашей тактики в Третьей Думе, она уже ясна из сказанного. Мы решили всеми силами и знаниями вложиться в текущую государственную деятельность народного представительства. Нам предстояло еще многому научиться, что можно узнать, понять и оценить, только стоя у вертящегося колеса сложной и громоздкой государственной машины. Нельзя было пренебрегать при этом и контактом с бюрократией министерских служащих, у которых имелись свои технические знания, опытность и рутинная. Лучшие

из них сами страдали от этой рутины, познакомились с нами в комиссиях. Когда они поняли наши добрые намерения, они сами пришли к нам на помощь в борьбе с этой рутинной, — конечно, помимо своего непосредственного начальства. Так, очень широко воспользовался этой помощью Шингарев при своем изучении дефектов русского бюджета и контроля. То же было в области народного просвещения, церковной, а потом и военно-морской и иностранной политики.

Но в первые сессии Думы до этого своеобразного срастания было еще далеко. Мы сделали, в первую голову, предметом яростной политической атаки со стороны правительственного большинства — и в особенности со стороны правых. Дискредитирование оппозиции — и именно наиболее ответственной ее части — должно было служить задачей и оправданием их собственной победы.

Напомню заявление Пуришкевича, что кадеты — элемент самый опасный и нежелательный, — именно потому, что они — самые вероятные участники государственной власти, осторожные, умные и политически образованные. Естественно, что на дискредитировании фракции Народной свободы сосредоточилась ближайшая тактическая задача, — как мнимых «конституционалистов», так и скрытых сторонников самодержавной

реставрации. И естественно также, что я, как признанный руководитель инкриминированного направления, сделался главной мишенью атаки. Нас считали лишенными национальных и патриотических чувств — привилегии этой Думы.

Нас трактовали, как элементы «антигосударственные» и «революционные», приписывая нам все грехи левых против народного представительства. Инициативе Гучкова надо приписать оскорбительный жест Думы по нашему адресу: нас не пустили в состав организованной им Комиссии государственной обороны — на том основании, что мы можем выдать неприятелю государственные секреты. Правые устраивали даже настоящую обструкцию нашим — и в особенности моим — выступлениям на трибуне Государственной Думы. Когда наступала моя очередь говорить, П. Н. Крупенский пускал по скамьям правых и националистов записку: «разговаривайте», — и начинался шум, среди которого оратора невозможно было слышать. Не говорю уже об оскорбительных выражениях, сыпавшихся с этих скамей по нашему адресу. Пуришкевич начал одну из своих речей цитатой из Крылова:

Павлушка — медный лоб, приличное
название,

Имел ко лжи большое дарованье.

В другой раз, заметив во время своей речи на моем лице ироническое выражение, он схватил стакан с водой, всегда стоявший перед оратором на трибуне, и бросил в меня (я сидел на нижних скамьях амфитеатра Думы). Стакан упал к моим ногам и разбился. Председателю пришлось исключить Пуришкевича из заседания. Но высшей точкой этих скандалов, больших и маленьких, был прием, устроенный мне целым большинством Думы после моего возвращения из Америки, в весеннюю сессию 1908 г.

Очевидно, самый факт моей поездки рассматривался, как какая-то измена родине, и демонстрация была подготовлена заранее к моему первому по приезду выступлению на трибуне. Когда я приготовился говорить, члены большинства снялись с своих мест и вышли из залы заседания. Должен признать, что мое первое впечатление было жуткое. Как ни как, это же была Государственная Дума, законное народное представительство.

Я смотрел на Гучкова и ждал, как поступит мой бывший университетский товарищ, сидевший в центре. Когда эта часть залы опустела, поднялся и он и своей тяжелой походкой (последствие раны в ноге, полученной в бурской войне) направился к выходу. Я всё же не потерял спокойствия и ждал,

молча, не покидая трибуны. Председатель объявил, по наказу, перерыв заседания. Когда оно возобновилось, я снова вошел на трибуну, сохраняя свою очередь. Правительственное большинство снова вышло из зала. Тогда председатель закрыл заседание. Я на следующий день напечатал в «Речи» свою «непроизнесенную речь». В ней я высказал свое мнение о поведении собрания. При открытии ближайшего заседания я снова выступил на трибуну. Дальнейшее сопротивление теряло смысл, члены большинства остались сидеть на местах, и я произнес речь делового содержания, не упомянув ни словом о демонстрации, на ту же тему, которой было посвящено мое выступление.

Чтобы не возвращаться к этого рода эпизодам, упомяну еще о столкновении с тем же Гучковым, происшедшем значительно позднее. Я как-то употребил в своей речи довольно сильное выражение по его адресу, хотя и вполне «парламентарное», и о нем тогда же совершенно забыл. Но Гучков к нему придрался — и послал ко мне секундантов, Родзянко и Звегинцева, членов Думы и бывших военных. Он прекрасно знал мое отрицательное отношение к дуэлям — общее для всей тогдашней интеллигенции — и, вероятно, рассчитывал, что я откажусь от дуэли и тем унижу себя в мнении его единомышленников. Сам он со времени своей берлинской дуэли (см. выше) имел

установившуюся репутацию бреттера.

Я почувствовал, однако, что при сложившемся политическом положении я отказаться от вызова не могу. Гучков был лидером большинства, меня называли лидером оппозиции; отказ был бы политическим актом. Я принял вызов и пригласил в секунданты тоже бывших военных: молодого А. М. Колюбакина, человека горячего темперамента и чуткого к вопросам чести, также и военной, и, сколько помнится, Свечина, бывшего члена Первой Думы, Этим я показал, что отношусь к вопросу серьезно. Подчиниться требованиям Гучкова я отказался. Мои секунданты очутились в большом затруднении. Они, во что бы то стало, хотели меня вызволить из создавшегося нелепого положения, но должны были считаться с правилами дуэльного кодекса и с моим отказом от примирения.

Помню поздний вечер, когда происходило последнее совещание сторон и вырабатывалась наиболее приемлемая для меня согласительная формула. Я в нее не верил, считал дуэль неизбежной и вспоминал арию Ленского. Но... мои секунданты приехали ко мне поздно ночью, торжествующие и настойчивые. Они добились компромиссного текста, от которого, по их мнению, я не имел ни политического, ни морального права отказаться. Отказ был бы непонятным ни для кого упорством и упрямством. Я, к сожалению, не

помню ни этой формулы, ни даже самого повода к Гучковской обиде, очевидно, раздутой намеренно. Но я видел, что упираться дальше было бы смешно, согласился, с моими секундантами и подписал выработанный ими, совместно с противной стороной, текст. Гучкову не удалось ни унижить меня, ни поставить меня к барьеру, и политическая цель, которую он, очевидно, преследовал, достигнута не была.

Попутно, я расскажу и другой «дуэльный» случай — не со мной, а с Родичевым, в котором я принял неожиданное для себя и неприятное участие. Это и до сих пор мой *cas de conscience*³, в котором я разобраться не могу. Родичев произносил очень сильную речь против продолжения применявшихся и после 1907 г. смертных приговоров и закончил ее выражением: «Столыпинский галстук», причем руками сделал жест завязывания петли на шее. Впечатление было настолько сильно, что Дума как будто на момент замерла; потом раздались неистовые аплодисменты по адресу сидевшего на своем месте Столыпина, и все правительственное большинство встало. Встал и я, почувствовав моральную невозможность

³ Вопрос веры или убеждений, в котором человек колеблется.

сидеть. Фракция осталась сидеть и смотрела на меня с недоумением. Заседание прервалось. Родичев совершенно растерялся. Столыпин вышел из зала заседания в министерский павильон.

Я в первый момент осмыслил для себя свой жест, как выражение протеста против личного оскорбления в парламентской речи. Но тотчас явилось и другое объяснение. Из павильона пришло сообщение, что Столыпин глубоко потрясен, что он не хочет остаться у своих детей с кличкой «вешателя» — и посылает Родичеву секундантов.

Я был уверен, что для Родичева принятие дуэли психологически и всячески невозможно. И я заявил фракции, что мой жест устраняет из инцидента личный элемент и что Родичеву остается просто извиниться за неудачное выражение. Все еще взволнованный и растерянный, Родичев, вопреки высказанным тут же противоположным мнениям, пошел извиняться. Столыпин использовал этот эпизод грубо и оскорбительно. Не подав руки, он бросил Родичеву надменную фразу: «Я вас прощаю».

Я чувствовал себя отвратительно. Во фракции и в нашем партийном клубе шли горячие споры. Вечером того же дня наши клубные дамы помирили нас тем, что поднесли два букета цветов: Родичеву, но также и мне. А я испытывал двойное ощущение, что поступил правильно и иначе поступить не мог,

но в итоге только создал для Родичева унижительное положение. Но альтернатива принятие дуэли, как и категорический отказ, — мне и теперь представляется для Родичева одинаково невозможным исходом.

3. Три заграничные поездки

Прежде чем вести дальше мой рассказ о думской деятельности, я соединяю под этим общим заглавием три мои поездки за границу в 1907–1909 годах. Все три имеют отношение к моей работе в Думе, но отношение это — весьма различное, и, сопоставляя эти различия, можно получить любопытную кривую быстрой перемены отношения Третьей Думы ко мне лично и ко всей нашей фракции. Исходную точку этой кривой я только что описал: она характеризуется демонстрацией большинства Думы по моему адресу после первой из этих поездок — в Соединенные Штаты. Вторая поездка (на Балканы) тесно связана с моими выступлениями в Думе в качестве не только терпимого, но все более признанного эксперта по внешней политике. А третья — участие в думской делегации в Лондоне — была уже равносильна признанию за фракцией принадлежащего ей законно места в целом составе Государственной Думы.

А. Третья поездка в Америку

Моя третья поездка в Америку совершилась при иных условиях, нежели первые две. Во-первых, она была произведена совсем по-американски: я пробыл в Соединенных Штатах ровно три дня. Во-вторых, — отчасти по той же причине, — она превратилась в некое триумфальное шествие, заготовленное для меня, конечно, при ближайшем содействии того же моего друга, Чарльза Крейна. Это был, так сказать, зенит моей популярности в Америке. Повод к новому приглашению был, сам по себе, совершенно естественный. В своих лекциях и в книге я предсказал наступление революции. Предсказание осуществилось; революция произошла, и ее ближайшие цели вызвали огромное сочувствие во всем цивилизованном мире — и в Америке в особенности. Но теперь догорели огни революции, началась редакция, и самым ярким проявлением ее было нарушение основных законов царем и созыв Третьей Думы по новому избирательному положению, отдававшему русское народное представительство под опеку правительственной власти в союзе с «господствующим» сословием. Естественно, что в Америке хотели знать, что случилось, — и знать от того же лица, которое объяснило неизбежность

революционной развязки. Мне предстояло дать это объяснение: то же самое, которое я дал в дополнении к французскому переводу моей книги.

Приглашение было мною получено и принято до того, как началась избирательная кампания и состоялся мой выбор в члены Думы. Будучи выбран, я уже не мог располагать своим временем и принужден был ограничить свое посещение теми тремя днями, которые мне оставались, включая 12 дней на переезд по океану туда и обратно, до возобновления думских заседаний, после рождественских каникул. Эти три дня Крейн с моими друзьями и наполнил рядом общественных демонстраций около моей персоны.

В центре стояло приглашение сделать доклад о новом политическом положении в России, поставленный на очередь влиятельной политической организацией «Гражданского Форума» (Civic Forum). Цель политических выступлений этой организации была отмечать важные моменты политической жизни, главным образом, Нового Света, и оказывать этим способом влияние на общественное мнение Америки. Для этого приглашались наиболее влиятельные политические деятели, вплоть до президентов, так что выступление под фирмой Civic Forum было уже само по себе некоторым политическим событием. Для докладов выбиралась одна из самых обширных

аудиторий тогдашнего Нью-Йорка Carnegie Hall, и доклад читался под председательством какого-нибудь влиятельного лица. В моем случае это был епископ Поттер. Доклады сопровождались публичными прениями, которые стенографировались и распространялись во всеобщее сведение, вместе с голосованием многочисленной публикой предложенной председателем резолюции.

Мой доклад состоялся на следующий день по приходе парохода. Остаток первого дня устроители использовали для устройства встречи с нотаблями и выдающимися общественными и академическими деятелями Нью-Йорка. Приглашенных числилось более 600 человек.

Мое представление им состоялось по обычной американской процедуре. Я стоял на возвышении, окруженный устроителями. Каждого из приглашенных подводили ко мне, называли его имя, и я должен был произнести сакраментальное how do you do (Как вы поживаете?), пожать руку и произнести, в случае обращения ко мне, несколько любезных слов. В составе приветствовавших были лица и имена, мне знакомые; с ними обмен любезностей был легче. Были знавшие мою роль или, по крайней мере, мое имя; с этими было труднее. Были — вероятно, большинство — совсем меня не знавшие; тут дело ограничивалось

сакраментальной формулой. От шестисот рукопожатий, по-американски крепких, осталось осязательное впечатление: рука распухла. Тут было зерно моих завтрашних слушателей; они несли с собой готовое сочувствие, к предмету моей речи и разместились на эстраде или в первых рядах. За ними разместилась всякая публика, и возражения, очень левые и подчас довольно резкие — мне пришлось выслушать с высоты амфитеатра.

На другой день состоялось заседание, обставленное очень торжественно. Вступительную речь сказал епископ; она была посвящена значению событий, происходивших в России, и моей личной характеристике. Текст моего обращения я, конечно, заготовил заранее, но старался придать ему характер разговорной речи; оно, во всяком случае, было выслушано с большим вниманием и прерывалось обычными приветственными возгласами в соответственных местах.

Затем, по приглашению председателя — не полемизировать, а ставить вопросы — начался ряд ядовитых замечаний, возражений и вопросов сверху; моя характеристика конфликта между правительством и обществом показалась там чересчур объективной. Меня вызывали на резкости. Этого я не хотел, а иногда, — когда суждения о власти переходили в суждения о России, — мне приходилось не только обороняться, но и самому

переходить в наступление. Большинство аудитории подчеркивало особенно эти места знаками одобрения. В общем, я мог быть очень доволен полученным впечатлением. Председатель в заключение прочел одобрительную формулу и предложил согласным произнести старинное слово Ауе⁴ (звучало русским: ай). Это «ай» прозвучало очень громозвучно — и собрание было закончено.

На третий день чествование достигло высшей точки (по моей вине, как увидим, не самой высшей). Из Нью-Йорка меня повезли в Вашингтон. Там, по программе, предстоял прием у президента и доклад о России членам Конгресса. Но я помешал выполнению первого пункта программы. Для представления президенту нужна была рекомендация русского посла; им был тогда бар. Розен. Уже в Нью-Йорке я сказал, что, как представитель оппозиции, я не могу обратиться к послу с этой просьбой и что я рискую, что он мне откажет. Крейн убеждал, что отказа не будет, и ссылаясь на свое личное знакомство с послом и президентом (тогда президентом был Теодор Рузвельт). Но я оставался непреклонен. Меня хотели переубедить по приезду в Вашингтон. Там, в номер гостиницы заходили знакомые и незнакомые

⁴ Да.

посредники, говорили, что президент выразил желание меня видеть, убеждали, что согласие посла обеспечено, удивлялись непонятности моего сопротивления...

Позднее, оно мне самому показалось бы, вероятно, странным и даже смешным. Но тогда было такое время, что я чувствовал себя связанным своей политической ролью в России. Мне казалось, — а, вероятно, это так и было, что в кругу моих единомышленников не поймут моего обращения с просьбой к представителю русского правительства за границей и сочтут это своего рода предательством. Повторяю, такое было тогда время...

В Америке, во всяком случае, очевидно, поняли, что тут были не простая глупость и фанатизм, а наглядная иллюстрация того, что происходило в России. Из гостиницы меня повезли в обширное помещение (не знаю, было ли это в Капитолии), где собрались члены обеих палат Конгресса. Тут не было ни доклада, ни прений, но состоялась интересная для меня и для слушателей беседа. Тема, конечно, была та же самая; но тут было собрание государственных людей и видных политических деятелей; их интересовало не столько мое освещение фактов, сколько самые факты. Знание жизни, конечно, не было еще знанием России, и по этой части я нашел собрание довольно

мало осведомленным, Но понимали они меня с полуслова.

За беседой последовал ужин; собеседники разбились между отдельными столиками. За моим столиком, помню, присел, между другими, Тафт (судья, брат президента), и беседа приняла более интимный и всё же содержательный характер. Поздно ночью я вернулся в Нью-Йорк; а утром следующего дня уходил в Европу пароход «Messageries Maritimes». Это был единственный случай из моих поездок в Америку, когда я ехал на французском пароходе, и как раз тогда на океане разыгралась серьезная буря: единственная, которую я испытал. Гигантские волны хлестали через стеклянную вышку, в которой помещался музыкальный салон. Зрелище было увлекательное и страшное... О том, как меня встретила Дума, рассказано выше.

Б. Балканы и Европа

1908 год был годом моих первых выступлений в Третьей Государственной Думе. И это был год глубокого «Балканского кризиса». Из русских общественных деятелей я оказался в этом вопросе единственным специалистом. Мое пребывание в Болгарии и поездки по Македонии и Старой Сербии в конце века, моя поездка по западной, сербской

половине Балкан в 1904 г. — о чем рассказано в соответствующих главах этих воспоминаний — познакомили меня не с официальной, а с внутренней, народной жизнью славянских народов полуострова; я был свидетелем возрождения их национального сознания и народной борьбы против поработителей — турок и опекунов — австро-венгерцев. Все мои симпатии были на стороне этих освободительных стремлений, тем более, что руководство в борьбе уже переходило от старых «народолюбцев» в руки молодого поколения новорожденной славянской демократической интеллигенции.

Однако же, совершившиеся — и особенно предстоявшие — события на этом узком театре еще предстояло, вставить в более широкие европейские рамки. Здесь, на местах, можно было особенно отчетливо видеть, что нити сложной ткани перемен в этом «ветряном углу» Европы восходили выше, к европейской дипломатии и, через нее, к европейским дворам. Но там, наверху, для такого постороннего наблюдателя, как я, эти нити терялись.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы и в этой области я был совершенно не ориентирован. Напротив, моя европейская ориентация начала складываться давно, не столько даже под влиянием фактов, сколько под влиянием настроений и общих

взглядов.

Напомню мои детские впечатления от войны 1870 года и мои юношеские переживания в войне 1877-78 гг., в которой, хотя и в скромной роли санитаря на Кавказе, я принял добровольное личное участие, а за этим следовало острое восприятие контраста между Сан-Стефанским договором перед стенами Константинополя — и «маклерской» ролью Бисмарка на Берлинском конгрессе, где Россия потеряла плоды своей полной победы в Болгарии, а Австро-Венгрия, в награду за свое неучастие, получила в «оккупацию и управление» сербские земли Боснии и Герцеговины.

Но дальше картина разбивалась на частности, среди которых главные линии затушевывались. Затруднение увеличивалось тем, что в дальнейшем ходе событий линии европейской политики переплетались, положение создавалось переходное, и даже профессиональная дипломатия, в особенности русская, колебалась в выборе направления. При секрете, в который облекались дипломатические тайны, приходилось довольствоваться обрывками сведений, которые проникали в печать, — или питаться слухами «из самых верных источников». Я хочу объяснить этим, почему и моя собственная осведомленность в этой области была далеко не полна. А от этого зависела и моя оценка событий. В этих воспоминаниях я

хотел бы сохранить те оттенки моих тогдашних мнений, которые были связаны или с этой неполнотой сведений или же с незаконченностью развертывавшихся событий.

В исторической перспективе, впоследствии, можно было легко видеть, что главной осью, около которой развертывались европейские события на рубеже столетий, было вступление на императорский трон Вильгельма II, его антагонизм с Бисмарком и его шумные заявления, что созданная железным канцлером германская империя должна быть направлена на «мировую политику» (1890-е годы). Так создавался конфликт с демократическими державами, Англией и Францией, в области строительства флота и приобретения колоний. Но намерения Вильгельма не были сразу приняты всерьез, и открытая борьба дяди (Эдуарда VII) с племянником вышла наружу несколько позднее. Россия к этому соревнованию на европейском западе, во всяком случае, не имела никакого отношения. И, однако же, уже при Александре III русская дипломатия несколько отодвинулась от Германии. Мне не была известна тогда история «Союза трех императоров» (Германия, Австрия, Россия), созданного Бисмарком, чтобы перестраховать со стороны России своего австрийского союзника. Заключенный в 1884 г., этот союз был продлен в

1887 г.; но после отставки Бисмарка (1890) он возобновлен не был. Это была дата возобновления старого соперничества между Австро-Венгрией и Россией на Балканах. Тотчас за тем последовало более тесное сближение Александра III с Францией (Кронштадт-Тулон, 1891, 1893), и русский либерализм получил возможность распевать «Марсельезу» в Петербурге и Москве.

Однако же, впоследствии я был свидетелем и обратного эпизода: Вильгельм II приехал с визитом к кузену, и «Адмирал Атлантического океана» приветствовал «Адмирала Тихого океана»⁵.

Я, опять-таки, не мог знать содержания дружеской переписки между «Ники» и «Вилли». Позднее стали доходить слухи, что Вильгельм настраивает «Ники» против русского общественного движения, а еще позднее и против Думы. Были слухи и о том, что Вильгельм хочет отвлечь внимание царя от Европы к Азии. Позднее можно было прочесть, что это был способ удалить соперника со спорной арены на Балканах и что он

⁵ Это имело место в 1902 г., во время русских морских маневров вблизи Ревеля, на которых присутствовал имп. Вильгельм. Когда его яхта отходила, он, прощаясь, сигнализировал царю: «Адмирал Атлантического океана шлет привет адмиралу Тихого океана». (Примеч. ред.).

вполне удался. Мы читали знаменательную фразу Николая: «Я теперь вовсе не думаю о Константинополе; все мои интересы, все мое внимание обращено на Китай» (1896). Это совпадало с началом европейского вмешательства в китайско-японскую борьбу и германско-русско-английской оккупацией ⁶. Однако, тогда же Англия заключила свой особый союз с Японией (1902), а Франция требовала эвакуации русских войск из Маньчжурии (1903). Темные дельцы при царском дворе помешали этому — и втравили Россию в войну с Японией, которая кончилась поражением России (1904). Готовясь к этой войне, русская дипломатия обеспечила себя равноправным соглашением с Австро-Венгрией об обоюдном сохранении *status quo* на Балканах (1897)⁷. Перед самой войной был заключен договор

⁶ Автор имеет в виду имевшую место в 1895 г. дипломатическую интервенцию России, Франции и Германии с целью заставить Японию смягчить условия только что заключенного ею в Симоносеки мирного договора с Китаем; в результате этой интервенции Япония была вынуждена отказаться от перехода к ней Ляо-дунского полуострова. Говоря о германско-русско-английской оккупации, автор имеет в виду занятие в 1897-98 г.г.: Германией Киао-Чао, Россией Порт-Артура и Англией Вэй-Хай-Вэй. (Примеч. ред.).

⁷ Говоря: «готовясь к этой войне», автор имеет в виду не

Николая с Францем-Иосифом в Мюрцштеге (1903) о македонских реформах. Позднее я узнал, что Вильгельм и после русского поражения не потерял своего влияния на Николая. К коварству он присоединил даже, во время морской прогулки в Бьерке (1905), моральное насилие. Он попытался вырвать у царя, без ведома министра иностранных дел, нелепый русско-германский договор, противоречивший англо-французской ориентации. Конечно, обман был тотчас раскрыт.

Внимание Николая теперь снова обратилось на Балканы, где усиливались угрожающие признаки турецкого разложения. Но Россия вернулась туда ослабленной и потерявшей значительную часть своего престижа и влияния на славянские народности. Этим воспользовалась Австро-Венгрия, чтобы добиться для «лоскутной» империи Франца-Иосифа господствующего положения, подчинив себе славянство — и особенно сербство. В королевстве Сербии влияние Австрии преобладало при короле Милане и его

приготовления, в подлинном смысле слова, к Русско-японской войне, которая в 1897 г. не предвиделась, а желание России в то время избежать осложнений на Балканах, — «заморозить», Восточный вопрос, по выражению Лобанова-Ростовского, чтобы иметь свободные руки на Дальнем Востоке. (Примеч. ред.).

наследнике Александре. Но династия Обреновичей оборвалась убийством Александра и его супруги Драги (1903). На престол вступил франкофил и представитель дружественной России династии Карагеоргиевичей, престарелый Петр. Черногорией правил Николай, славянский «герой», пользовавшийся русской субсидией и удачно выдавший двух дочерей, Милицу и Анастасию, петербургских институток, за двух русских великих князей — Петра и Николая Николаевичей. В Болгарии искусно лавировал между русофильскими либеральными министрами и оппортунистами-консерваторами князь Фердинанд, скрывая до поры до времени свои австро-германские связи. Казалось, у России сохранялись твердые опорные пункты. Но это только казалось, — пока она была сильна. Уже с 1906 г. положение изменилось. В октябре этого года австро-венгерским министром иностранных дел был назначен бар. Эренталь, отлично изучивший за много лет своего пребывания в Петербурге слабые стороны русского режима, имевший друзей среди русских правых сановников (Шванебах) и внимательно следивший за революционным движением 1905–1906 гг. При Эрентале обострилась открытая борьба Австрии против национального движения за «Великую Сербию» и против независимого положения

(прежде всего, экономического) королевства Сербии. Тридцатилетняя «оккупация и управление» в Боснии и Герцеговине, — местности, которые сербы считали «колыбелью» своей национальности, — служила при этом удобным исходным пунктом для дальнейших захватов.

За Австро-Венгрией, конечно, стояла Германия; но Австрия была достаточно сильна, чтобы вести самостоятельно свою балканскую политику. Вильгельм вел свою *Weltpolitik*⁸ и в своих колониальных стремлениях сталкивался с Англией и Францией, рассчитывая на поддержку России. Но после Бьерке и особенно после неудачи в Алжезирасе, где Россия его не поддержала, он перестал верить в прочность монархических и династических уз, связывавших его с Николаем. Об этой перемене он сам заявил открыто нашему послу Остен-Сакену (июнь, 1906). Разделение Европы на два противоположных лагеря, *Entente*⁹ и *Triplice*¹⁰, становилось всё определеннее. Центром

⁸ Мировая политика.

⁹ Англо-франко-русское согласие.

¹⁰ Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии.

антагонизма между обоими было усиление соперничества между «дядей» и «племянником», Эдуардом VII и Вильгельмом. Вильгельм ненавидел «дядю»; Эдуард платил ему насмешливым презрением. С 1906 года английский король ввел Россию в сеть своей сложной политики, которую Вильгельм называл «окружением» Германии. И две различные линии антагонизма, русско-австро-балканская и германско-англо-азиатская, скрестились. В Петербурге энергично работал талантливый британский посол А. Никольсон, ведший переговоры с А. П. Извольским о разграничении сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете, где задевались (особенно в Персидском заливе) интересы Германии. В 1906 году внешняя политика России была парализована внутренней смутой, в которой Извольский вел, как мы видели, линию примирения с Думой. Но в 1907 году Никольсону удалось заключить с Извольским три договора о разграничении отношений в упомянутых странах. В то же время обострился интерес Англии (а также и Италии) к разгоравшемуся балканскому кризису. Старые нити были натянуты до разрыва.

Так сложилась общая картина международного положения к началу достопамятного 1908 года. Повторяю, далеко не все в этой картине связывалось в моем тогдашнем

представлении. Европейская сторона конфликта была мне гораздо менее ясна, чем балканская. Этой неравномерностью определилось и мое отношение к событиям 1908 года.

Год сразу начался ярким диссонансом, подчеркнувшим русско-австрийский антагонизм на Балканах. 27 января Эренталь произнес перед австрийско-венгерскими делегациями речь, в которой сообщил о проекте постройки отрезка железной дороги через турецкий санджак Новибазар. Этот отрезок отделял сербов королевства от сербов Черногории, Герцеговины и Боснии, но соединял Вену (через Сараево) с путем на Салоники. В то же время он закреплял за Австрией центральный стратегический пункт для продвижения в турецкие владения. Речь Эренталя произвела громадную сенсацию, как наглядное проявление захватной политики. Извольский поспешил противопоставить австрийскому проекту поперечный славянский, соединявший Дунай с Адриатическим морем. Этот путь обеспечивал выход к морю через Черногорию или через Далмацию; им была заинтересована, через Албанию, и Италия. Ни один проект не осуществился; но противоположность интересов была ярко подчеркнута, и немедленно же конфликт из балканского стал европейским. С русской стороны было заявлено, что Австрия нарушила

Мюрцштегский договор. А Англия требовала расширения прямого общеевропейского влияния на Турцию в македонском вопросе. Против этого решительно возражали и Австрия, и Германия. 26 марта Извольский в особой ноте настаивал на назначении генерал-губернатора в Македонии. А 9 июня 1908 г. состоялось давно задуманное свидание Эдуарда VII с Николаем II в Ревеле, во время которого была выработана новая программа македонских реформ.

Обыкновенно, в случае особенного напора Европы на Турцию в защиту христианского населения, турецкие султаны опубликовывали какой-нибудь собственный проект введения самоуправления провинций. Проходил опасный момент, и все эти хатти-шерифы (1839), хатти-хумаюны (1856), даже «конституция» Митхада (1876) и «законы» о вилайетах (1888) оставались на бумаге. Старый турецкий режим, мне хорошо известный, продолжал безнаказанно существовать по-прежнему. Но на этот раз случилось нечто неожиданное. Больной человек, которого привыкла опекать Европа, вдруг ожил — не в лице правительства, а в лице самого турецкого народа. По требованию турецкой армии, «кровавый» султан Абдул-Хамид был принужден отказаться от престола. В Турции начиналась новая либеральная эра, и 24 июля появилась новая

радикальная конституция, закреплявшая победу «молодой Турции». Я почувствовал, что мои знания о Турции теперь уже недостаточны, и решил в каникулы 1908 г. предпринять новую поездку по Балканам.

Я приехал в Константинополь как раз вовремя, чтобы застать инаугурацию нового султана Магомета V. Я мог наблюдать торжественную процессию введения султана в Высокую Порту. Но здесь нечего было делать. Восстание шло из Салоник, где и находились главные вожди «младотурок». Побывав в редакции оппозиционной турецкой газеты, — где меня встретили, как собрата по оружию, известного русского радикала, и разговор велся в повышенном тоне, — я на другой день выехал в Салоники. В отделении вагона против меня сидели два пассажира: один оказался турком, другой — болгарин. Скоро завязался оживленный разговор, который для меня послужил прекрасной интродукцией к пониманию турецкой новой эры. Турок был одет в поношенный серый костюм; но скоро я, заметил, что на каждой остановке поезда его ожидали депутаты, к которым он выходил для краткой беседы.

Его неважный французский язык не свидетельствовал о высокой культуре; но это, очевидно, не мешало ему играть какую-то важную

роль среди своих. Постепенно я узнал, что его профессия — почтовый чиновник, а имя — Талаад. Это был один из главных младотурецких вождей — свой среди местного населения. Болгарин был, очевидно, членом македонского революционного движения. Он в восторженных выражениях, безоговорочно, приветствовал младотурецкий переворот. Кончены теперь наши распри; кончена борьба; мы все теперь равны; мы все — «оттоманы», равноправные граждане, без различия рас и религий! Это было для меня непривычно и неожиданно. Передо мной сидели вчерашние господин и раб, палач и жертва, и я думал про себя: куда же делись привычки векового владычества с одной стороны, и замкнутость христианской «райи» — с другой? И что будет, если «равенство» выразится в потере хотя бы того религиозного прикрытия, под которым скрывалась фактическая неприкосновенность христианской общины? Все же я поддался общему настроению и склонен был поверить, что революция сделала чудо.

В Салониках я поселился в Cristal Palace Hotel — и был радостно удивлен, когда оказалось, что там же живет и столуется мой новый турецкий знакомый. Мы стали каждый день встречаться у табль-д'ота, и между нами завязались долгие беседы. Талаад расспрашивал меня о русской революции и о нашей борьбе с самодержавием, а я

его — о причинах и ходе турецкого движения. Их идеологами и руководителями были тогда турецкие эмигранты в Париже. Их партия называлась «Единение и прогресс», «Иттихад ве терекки»; их лозунг — единая оттоманская нация. Этот лозунг, впрочем, уже начал принимать, сколько можно было понять, узкий национальный оттенок: «Турция для турков». Это значило, во-первых, в международном смысле, свобода от иностранной опеки. Но это могло значить также: преобладание господствующей расы. И я был несколько озадачен, когда расспросы меня направились не в сторону Парижа или Петербурга, а в сторону Берлина. Какая там «конституция»? И как организованы в Германии гражданские свободы?

В числе новых знакомств я особенно был заинтересован беседой с Хильми-пашой, известным генерал-инспектором Македонии. У него интерес к Германии приобрел уже вполне устоявшийся характер. Между двумя частями лозунга: «единение и прогресс», — очевидно, первая половина преобладала. Здесь была в зародыше вся будущая история диктатуры комитета Union et Progres над либеральным правительством, а в самом комитете — диктатуры военной власти над комитетом. Недаром уже тут, в Салониках, руководители нетерпеливо ждали приезда из Малой Азии Энвера-паши и устроили ему триумфальную

встречу. Разумеется, обо всем этом тогда можно было только догадываться; но наблюдений было достаточно, чтобы задуматься о будущем. Главный интерес моего салоницкого пребывания был исчерпан — и я мог ехать дальше. На очереди стоял разыгравшийся сербо-австрийский конфликт.

Я направился в Белград и остановился тут на этот раз несколько дольше, чем прежде. У меня были в столице Сербии университетские друзья, познакомившие меня с молодым поколением политических деятелей, а также с молодым офицерством. Мой спор о болгаризме, господствующей народности Македонии, еще не успел тогда испортить моих отношений с сербами, а моя поездка 1904 года по неосвобожденным сербским землям и начавшееся сближение этого поколения с молодыми болгарями нас сблизили. Как я уже упоминал, борьба за национальное освобождение переходила из рук поколения влиятельных общинных старейшин к университетской молодежи и принимала революционный характер. Я нашел теперь, что это движение гораздо дальше продвинулось, нежели я ожидал. И со стороны Австро-Венгрии оно уже вызывало, как сказано, гораздо более острое сопротивление. К этому времени относятся знаменитые процессы Масарика против фальсификаций австрийской полиции, нашумевшее

дело о подброшенных шпионом Настичем бомбах и т. д. С сербской стороны сорганизовалось для борьбы подпольное сообщество «Омладины».

По традиции первых Дум, я продолжал и теперь держаться в стороне от официальных представителей России на Балканах; и они, в свою очередь, зная о моем отрицательном отношении к русской балканской политике, платили мне тем же. Отсюда неизбежно вытекала некоторая однородность моих впечатлений, связанных с радикальными кругами балканских народностей. Македонский деятель Ризов посвятил меня в тайну секретных переговоров между болгарской и сербской политической молодежью уже с 1904 года — год «Ильинденского» восстания в Македонии. Этот факт уже показывал, что национальное движение вышло за пределы местной узко-национальной борьбы, с одной стороны, и официальной русской опеки, с другой. Но я не ожидал, что эти линии разошлись так далеко. Из общения с сербской военной молодежью я вынес два новых для себя впечатления. Первое было то, что эта молодежь совершенно не считалась с русской дипломатией. Падение русского престижа на Балканах стало тогда уже для меня совершенно очевидно. Второе впечатление было то, что, рассчитывая на свои собственные силы, эта молодежь, несомненно, чрезвычайно их

преувеличивала. Ожидание войны с Австрией переходило здесь в нетерпеливую готовность сразиться, и успех казался легким и несомненным. То и другое настроение казалось настолько всеобщим и бесспорным, что входить в пререкания на эти темы было совершенно бесполезно; да я и не мог охлаждать надежд, которые шевелились у меня самого. Не помню, насколько эти впечатления отразились в моих тогдашних газетных корреспонденциях. Но впоследствии они мне пригодились.

Ввиду нашумевшего спора о направлении железных дорог — дунайском или салоницком — мне хотелось познакомиться с топографией этих направлений. В поездку 1904 г. я видел только каменистый и бесплодный фасад Черногории со стороны Котора и Цетинье. При содействии Ризова, тогда бывшего болгарским представителем в Цетинье, мне удалось посетить богатую равнинную часть страны. Мы проехали вместе с моим любезным комментатором юго-восточную Черногорию через Подгорицу, прокатились через живописное Скутарийское озеро, выехали к Вирбазару, к порту Антивари и к Ульцину (Дульциньо) на Адриатике. Препятствия, поставленные здесь австрийцами, выяснились наглядно. Много нового я узнал попутно и о теневой стороне управления Николая

Черногорского (о чем говорил раньше).

Я побывал затем вторично в Сараево, — чтобы проехать оттуда по новопостроенной железной дороге через живописный горный ландшафт к границе Новобазарского санджака, откуда должен был пойти отрезок линии до Митровицы — южного конца санджака, мне уже известного по поездке в Старую Сербию. Здесь можно было отметить искусственность и трудность инженерной задачи, поставленной Эренталем. Она потом иллюстрировалась тем, что, по миновании политической надобности, Эренталь вернул Новобазарский санджак в управление Турции. Я собрал также дополнительные официальные данные об австро-венгерском управлении, кадастре, национальном и религиозном составе населения Боснии и Герцеговины и т. д. Заехав, наконец, на обратном пути, в Загреб, я познакомился с хорватскими деятелями конституционной (в отличие от революционной) борьбы и осведомился об их успехах.

К осенней сессии Думы я возвращался, вооруженный новыми впечатлениями. Но тут произошли крупные события на Балканах, по поводу которых пришлось обсуждать русскую политику уже не с кафедры Думы, а в печати¹¹.

¹¹ Всё мною написанное по этому поводу я собрал в книгу

Мое личное знакомство с А. П. Извольским ограничивалось встречами у Столыпина и краткой беседой после нее, в которой он рекомендовал себя либералом и европейцем. Позднее я узнал, что он защищал идею министерства из умеренного большинства Государственной Думы не только в Совете министров, но и перед Государем. В Европе отношение к нему было двойственное. Эдуард VII, познакомившийся с Извольским при либеральном копенгагенском дворе, заинтересовался дипломатическим моноклем и эпиграмматическими замечаниями будущего министра — и признал его дипломатом «большого стиля». Эдуард был тонким ценителем людей; легкая ирония и серьезное признание смешивались в этом впечатлении. Другие отмечали позерство Извольского, но не отрицали блестящего характера его бесед скорее салонного, чем профессионального характера — и признавали начитанность и широкие взгляды министра. Всем своим обликом Извольский напоминал культурного русского «барина», с показными, положительными и отрицательными,

«Балканский кризис и политика Извольского», вышедшую в 1910 г. Выступления министра иностранных дел, входившие в прерогативу монарха, в Думе стали редки, и критиковать его с трибуны приходилось почти лишь по поводу сметы министерства. (Прим. автора).

чертами этого типа.

Таким он проявил себя и в знаменитой интимной беседе с Эренталем, в гостях у его преемника гр. Берхтольда, в замке Бухлау, 15–16 сентября 1908 г. Оба собеседника потом толковали смысл этой «джентльменской» беседы различно. Извольский утверждал, что состоялся форменный сговор: Эренталь получал Боснию и Герцеговину, Извольский — пересмотр вопроса о Дарданеллах на европейской конференции, которую хотел организовать; напротив, Эренталь заявлял, что никакого уговора не было, а было лишь обещание дружественной поддержки на конференции. Пока Извольский разъезжал для осуществления своего плана по европейским столицам, Эренталь аннексировал Боснию и Герцеговину, а Фердинанд в тот же день объявил Болгарию независимой, а себя «царем болгар» (5 октября). Извольский горько жаловался на двуличность и предательство австро-венгерского министра. Если верны сведения, что в Ревеле была беседа не только о Балканах, но и о проливах, тогда становится понятной надежда Извольского получить поддержку в Лондоне — и самый план его связать аннексию Боснии с открытием Дарданелл для русского флота. Но предметы торговли были слишком неравноценны. Аннексия, после Рейхштадтского и Берлинского договоров и после тридцатилетнего

австро-венгерского управления Боснией и Герцеговиной, была шагом почти автоматическим, тогда как решение дарданелльского вопроса, ставшего с 1841 г. вопросом европейским, всегда связывалось с моментом окончательного разложения и раздела Турции, — чего Англия никогда не хотела, а теперь не хотела и Германия. И Извольский ни в Лондоне, ни в Париже поддержки не встретил, хотя и предупреждал Грэя, что без проливов ему нельзя вернуться в Петербург и что он будет заменен «реакционным» министром. Эдуард VII, не желая испортить впечатлений Ревеля, убеждал Грэя уступить; но Грэй был тверд, и Извольский вернулся с пустыми руками. А Эренталь, зная слабость русской позиции, продолжал утилизировать одержанный успех за счет Сербии. 19 марта 1909 г. он послал Сербии ультиматум, в котором требовал демобилизации сербской армии и обязательства — изменить политику по отношению к Австро-Венгрии и впредь жить с ней в добром соседстве.

Когда Извольский попробовал вмешаться, то через три дня явился к нему германский посол Пурталес и потребовал безусловного признания аннексии Боснии и Герцеговины. Германия впервые выступила тут из-за кулис. Совет министров решил уступить.

Ряд этих неудач — свидание в Бухлау,

аннексия, австрийский и германский ультиматумы и безусловная сдача России — произвели огромное и тяжелое впечатление в русском обществе всех направлений. Обвинение в провале сосредоточилось на личности и политике Извольского. И моя позиция совпала с настроениями националистов. Шаг за шагом я следил за неудачами Извольского в «Речи», не стесняясь в осуждении министра. Я думаю теперь, что я был несправедлив к Извольскому. Если это была политика «большого стиля», то она, конечно, не считалась с тогдашней слабостью России вообще и на Балканах в особенности. Столыпин очень метко охарактеризовал эту политику, как действие «рычага без точки опоры». Но во всяком случае, если Извольский потерпел неудачу, — неудачи повторялись и после него, — то он преследовал не свою личную политику, а политику императора. Мысль о взятии Дарданелл и Константинополя была постоянной мыслью Николая II, и к этой мысли он неоднократно возвращался. В надписи на докладе 30 августа 1916 г. находим его слова: «Мы должны покончить с Турцией; ее место — не в Европе».

В 1908 году и позднее я был далек от этого намерения, не только потому, что настроился дружественно по отношению к младотуркам и ожидал от них серьезной реформы Турции, но и

потому, что мое изучение Восточного вопроса давно уже показало мне, какие серьезные препятствия на этом пути встретятся нам со стороны Европы. Свидетельствовать о моем осторожном отношении к вопросу о Дарданеллах могут хотя бы мои статьи о нейтрализации проливов в 1913, 1915 и в начале 1917 года. Только наше соглашение с союзниками 1915 г. настроило меня смелее — в смысле осуществления предоставленных нам уже формально прав, причем про себя я и тогда не переставал думать о затруднениях, какие будут нам противопоставлены — даже в случае нашей победы. Освобождение славянских земель от турецкого ига это было одно дело; изгнание турок из Европы представлялось обломком старой официальной традиции; а их добровольное удаление — прежде всего идейное стало возможным только после реформы Кемаля Ататюрка и переноса центра государства в Анкару, — о чем, конечно, никто тогда не думал.

В. Думская делегация в Англию

Отношение английского общественного мнения к Государственной Думе всех четырех созывов оказало заметное влияние на сближение официальной Англии с официальной Россией. Но оно причинило и немало затруднений английскому

правительству в его сношениях с русским. В особенности эти затруднения почувствовались, как только обнаружилось, что созыв Первой Думы был не моментом примирения, а новым этапом борьбы со старым порядком. Недавно (1937) вышедшая в печати переписка А. П. Извольского с русским послом в Лондоне гр. Бенкендорфом за 1906 год иллюстрирует рост внутренних разногласий в Англии по этому поводу, и я воспользуюсь несколькими цитатами из нее — в качестве предисловия к нашему визиту 1909 года. Как известно, русская делегация членов Думы (там был наш Родичев) и Государственного Совета приехала в Лондон на съезд междупарламентского союза мира как раз в дни роспуска Первой Думы. Премьер Кемпбелл-Баннерман произнес по этому поводу знаменитые слова: «La Douma est morte, vive la Douma» (Дума умерла да здравствует Дума!). Гр. Бенкендорф сообщает о впечатлении, произведенном его речью, в таких выражениях: «Его речь произвела в оппозиции и даже при дворе, в части его партии, — той, которая его не любит, — впечатление урагана против него... Это могло бы дойти до министерского кризиса с большими дебатами в парламенте. Вы видите, что бы из этого вышло. Я не мог дать себя использовать для этого, меня на это толкали» (к сожалению, фраза в печатном тексте оборвана)... Визит английской

эскадры в Петербург как раз перед этим был отменен по русскому предложению. Дальше началось приспособление к создававшемуся положению в России. Бенкендорф одобрял Столыпина, а после покушения на него отметил перемену общественного мнения в его пользу и предложил называть «революционное» движение (что предполагает «реформы») — «террористическим».

Но левое течение общественного мнения, «литераторы и наивные люди» продолжали делать неприятности. Они осенью, в ожидании выборов во Вторую Думу, затеяли составить «мемуар» или адрес Думе и послать депутацию в Россию. Я не знаю результатов этого решения, — если только это не тот адрес Муромцеву в красивом переплете, подписанный левыми именами, который уже по смерти Муромцева (1910) был мне вручен для передачи его вдове (что я и исполнил). Очевидно, исход выборов во Вторую Думу помешал выполнению плана, как он был задуман. Всё же, проект посылки депутации с адресом обеспокоил русское представительство в Лондоне, тем более, что это совпало с новым погромом в Седлеце и с рядом обращений по этому поводу к европейскому общественному мнению. Какое-то мое интервью дошло тоже до Парижа и Лондона. Не помню его содержания, да и гр. Бенкендорф не мог найти его

подлинного текста. Он только упоминает, что я там «осуждаю всякие террористические средства», и находит, однако, что «когда такой человек, как Милюков, и такая партия, как его партия, ведут кампанию за границей, этот прием доказывает, что, по той или другой причине, она находится в отчаянном положении (aux abois)». «Во всем этом, — прибавляет он, — я принимаю всерьез только Милюкова; остальные — ничтожества, не имеющие никакого значения и политического влияния».

Бенкендорф полагал, что «человек, как Милюков, мог бы иметь больше отклика, если бы сумел взяться за дело», не так, как «открытые революционеры», но «и тогда он получил бы скудные результаты». Но, думая переубедить англичан, он «совершил ошибку». У Бенкендорфа уже было смутное опасение, что Вторая Дума будет «хуже первой»; но, думал он, вместо выжившего из ума Горемыкина, там будет Столыпин, «государственный человек небольшого размаха», но сильная личность, которая знает свой путь и «пойдет прямо к намеченной цели». Бенкендорф делал только одну оговорку, доказывавшую его проницательность: «почему такое ожесточение индивидуально против к. д. и этот флирт с противоположным лагерем? На этой покатости можно поскользнуться, если только не обладать

сильным духом и решительной волей». Бенкендорф не знал только, что это «скольжение» вправо входило в систему. Обоим корреспондентам пришлось очень разочароваться и ждать осуществления своих надежд до Третьей Думы.

Проект приезда короля в начале 1907 г. пришлось отложить, и только в Ревеле удалось, наконец, в 1908 году, устроить свидание государей. Инструированный Никольсоном, Эдуард VII на этом свидании навел разговор со Столыпиным на тему о Третьей Думе, проявил неожиданную осведомленность и наговорил Столыпину много комплиментов по этому поводу. Не знаю, тогда ли же или несколько позже решено было отправить в Англию делегацию членов Третьей Думы. Во главе делегации была поставлена декоративная фигура председателя Думы (на отлете) Н. А. Хомякова — человека вполне культурного и лично порядочного, которого не стыдно было показать Европе.

Мне в нем всегда вспоминался участник санитарного отряда московского дворянства, каким я его узнал в 1878 году: ленивый барин, отлынивавший от работы и отлеживавшийся на диване от кавказской летней жары. В делегации он был как-то незаметен. Правый фланг делегации представлен был красочной фигурой в другом смысле — гр. Бобринского, а левый фланг, для полноты, должен был представлять я. Обращение

ко мне с этим предложением понятно после только что приведенных отзывов Бенкендорфа; но оно не считалось с той репутацией, которую я имел в Англии среди левых. Всё сошло бы благополучно, если бы приезд делегации Третьей Думы не встретил резкой газетной критики и протеста с левой стороны, где еще не забыли участи Первой Думы. Члены делегации решили ответить печатно, и мне был принесен готовый текст контрпротеста для подписи. И по моему отношению к Третьей Думе, и по моим личным чувствам, и по моему положению относительно левых, подписать такой бумаги я не мог, изменить текст не хотели мои спутники, и я наотрез отказался от подписи. Это, конечно, вызвало большую сенсацию: я не исполнил главной функции, для которой был приглашен в их среду. Помню, как наш менеджер, профессор Лондонского университета Пэре (Pares), мой старый знакомый с 1905 года, — получивший за свою миссию потом титул баронета, просиживал целыми часами в моем номере гостиницы, всячески убеждая подписать нашу декларацию, настаивая на моем согласии и, в ожидании, флегматично покуривая трубку. Я не сдавался и с своей стороны предложил простое решение. Пусть за всю делегацию подпишет Хомяков; я возражать не буду. Так и было решено.

Из эпизодов, связанных с этой поездкой,

особенно запомнился один. Нас повезли в Эдинбург, с целью показать только что построенную морскую базу в Firth of Forth — доказательство доверия к новым друзьям. Показали древности и красоты живописного города, прокатили под мостом бесконечной длины, устроили, наконец, от города небольшой, закрытый банкет. Мимо нас промаршировала, играя на волынках, голоногая шотландская военная команда в традиционных клетчатых юбках. В заключение, сел за фортепиано пианист и заиграл, как полагается, английский гимн. Все присутствующие встали, и шотландские нотабли стройным хором пропели God save the King. Потом, в нашу честь, пианист заиграл русский гимн, и, увы, нас двое присутствующих, Бобринский и я, не оказались на высоте. Бобринский затянул фальшивым фальцетом. Я не вытерпел и, как умел, — но громко — пропел «Боже, царя храни». Получился скандал, обратный неподписанию делегатской декларации. Долго после этого меня поносили за мой квасной патриотизм в партийных и предвыборных собраниях Петербурга.

Я не припомню других официальных приветствий в честь делегации. Ввиду разнобоя в печати, делегация Третьей Думы явно не пользовалась успехом. Я познакомился с сэром Эдвардом Грэем, министром иностранных дел, — и

он произвел на меня наилучшее впечатление своей простотой обращения, вдумчивостью и отчетливостью своей речи, общим своим обликом искренности и честности. Я имел интересную беседу с военным министром Холдэном о его творении, «территориальных войсках», о которых он был высокого мнения. Молодой тогда Черчилль произвел на меня впечатление раскупоренной бутылки шампанского. Я побывал у Брайса — старая моя симпатия — и познакомился с его семьей, возобновил знакомство кое с кем из левых политических деятелей, виделся со старыми русскими друзьями. Но я боюсь смешать тогдашние встречи и беседы с впечатлениями других моих поездок в Англию: их было немало.

4. «Неославизм» и пацифизм

Прежде чем вернуться к воспоминаниям о деятельности в Третьей Думе, мне хочется остановиться на своем отношении к двум течениям, которые особенно ярко проявили себя в эти самые годы: к «неославизму» и пацифизму. Из своей балканской поездки я вывез обновленные чувства сочувствия к славянскому прогрессировавшему национализму и к его боевым настроениям. Эти чувства даже начали примирять со мной моих правых противников в Третьей Думе. Но тут же они

встретили противовес в моем сопротивлении «неославизму» и в моих пацифистских стремлениях. Расскажу теперь о том и о другом.

Кажется, можно считать изобретателем звучного и привлекательного термина «неославизм» Крамаржа. По крайней мере, он его привез к нам в Петербург. Не зная Крамаржа лично, я привык относиться к его имени с уважением, как к организатору и главе младо-чешского движения. В Петербурге мы встретились дружески. Но скоро это дружественное отношение стало прохладным, а затем заменилось более чем сдержанным. Я заметил, что в своем стремлении создать широкий фронт «неославизма» Крамарж обращается более к Столыпину и к полякам думского «коло», нежели к нам. Обнаружилась и цель визита, более политическая, чем идейная. Дело шло о том, чтобы примирить русских поляков со Столыпиным и тем приобрести голоса австрийских поляков в венском парламенте; их не хватало для создания желательного Крамаржу большинства. Эта цель была прикрыта идеей возобновления славянских съездов, и первый из них был уже намечен в Софии. Я знал одного старого и почтенного деятеля идеи славянского единения в Софии, издателя небольшого журнала.

Но это был представитель не нового, а старого славизма, ближе всего связанного с русским

славянофильством — и довольно смутного по содержанию. Около идеи Крамаржа и могли объединиться в России обломки старого славянофильства, обыкновенно люди консервативного направления. К ним могли, конечно, присоединиться и молодые элементы, вроде моего восторженного и наивного знакомого Лясковского, который с софийским съездом и с «неославизмом» связывал воинствующие стремления архаического «панславизма». Между тем, в лице Масарика, вождя новой славянской молодежи, я видел совсем другой тип, нежели запоздавшие последователи эпохи Колара и молодых годов Шафарика. От «панславизма» этого типа, которому положил конец уже Палацкий — и увлечения которого продолжали эксплуатировать австрийские враги славянства, до Масарика было очень далеко. Я не знал тогда, что и Масарик высказался против подделки «неославизма», не помню даже, знал ли о произведениях Гавличка, духовного учителя Масарика; позднее я с ними познакомился, как и с книгой Масарика о Гавличке. Но я уже чувствовал фальшь. На съезд в Софию я не поехал, как и на следующий, собравшийся в Праге. Этими двумя съездами, собственно, и кончилась пропаганда Крамаржа; он сам бросил эту затею, когда увидел, что задняя мысль его политики не выгорела. «Неославизм» взвился ракетой,

протрещал, и потух. Реальные задачи славянства пошли своим путем, мимо этой опасно вздутой идеологии.

В Москве продолжало действовать, в духе довольно умеренного славизма, под председательством кн. Павла Долгорукова, Общество Славянской Культуры то самое, в котором когда-то мы искали точки примирения с поляками. Позднее князь Павел Дмитриевич организовал Общество Мира и культивировал пацифизм, — довольно неумеренный. Во время войны он как-то рассказывал нам полушутя, полусерьезно, как, подъехав к самому фронту, у речки, разделявшей две армии, он доказывал немецкому офицеру на том берегу преимущества мира. Вероятно, это был единственный случай «братания» с русской стороны. Я давно сочувствовал пацифистским стремлениям; еще в Первой Думе я был членом и товарищем председателя междупарламентского Союза мира, которым декоративно руководил лорд Уэрдель, а деловым образом — неутомимый Христиан Ланге. Но мои надежды считались с реальностью.

Я прочел работу Блюха, который склонил Николая II организовать первую Гаагскую конференцию 1899 г., и внимательно следил за второй Гаагской конференцией 1907 г., против

которой протестовали немцы¹². Верхом успеха в развитии международного права представлялось мне тогда постепенное расширение содержания и распространение формулы обязательного арбитража. Но появление знаменитой книги Нормана Энджеля «Великая иллюзия» меня совершенно ошеломило. Автор доказывал, — и, казалось, доказывал неопровержимыми данными, — что войны должны прекратиться просто потому, что они невыгодны. Победители и побежденные одинаково теряют, и никакие приобретения, ни материальные, ни территориальные, не приносят никакой выгоды. Как раз тогда петербургское отделение Общества Мира просило меня прочесть доклад о пацифизме; я развил в нем аргументы Нормана Энджеля и, несколько расширив текст, напечатал под

¹² После созыва второй Гаагской конференции имп. Вильгельм сказал британскому послу сэру Франку Ласселю, что если в программу конференции будет включен вопрос об ограничении вооружений, Германия не примет участия в ней. В ответ на официальное предложение британского правительства обсудить на конференции вопрос об ограничении вооружений канцлер Бюлов заявил в рейхстаге, что германское правительство не может принять участие в дискуссии, которую оно считает непрактичной и даже опасной. (Прим. ред.).

заглавием: «Вооруженный мир и ограничение вооружений» (1911).

Не помню, насколько отразилось тут мое увлечение Энджелем. То были идиллические времена, когда правила международного права казались неприкосновенной святыней, когда Европа наслаждалась долголетним миром, колониальная борьба на время затихла, национальные претензии не поощрялись, «империализм» был почти бранным словом, и вечный мир вовсе не казался недостижимой перспективой.

У меня, однако, шевелились сомнения по поводу безупречности выводов Нормана Энджеля. Они представлялись неопровержимыми при допущении одной предпосылки: что весь мир — или, по крайней мере, вся Европа — стоит на одном культурном уровне с Англией. Но я знал, что это — не так, и «мировая политика» Вильгельма была наглядным опровержением этого. В предчувствии европейского вооруженного конфликта, великие державы как раз тогда начинали усиленно вооружаться. И «великая иллюзия» грозила великим разочарованием. Но это последовало не сразу: я расскажу дальше о своей роли пацифиста на практике еще в годы балканских войн 1912–1913 годов.

5. Моя деятельность в Третьей Думе

Молодой русский историк Б. А. Евреинов, раннюю смерть которого мы все оплакивали, дал себе труд просмотреть стенографические отчеты заседаний Третьей и Четвертой Государственных Дум и составил по ним список моих выступлений на думской трибуне для моего семидесятилетнего юбилея ¹³. По этому списку я составил прилагаемую здесь таблицу (см. приложение 1, в конце книги), распределив материал по пяти сессиям Третьей Думы, по предметам выступлений и по календарным датам (11, V — 11 мая и т. д.). Я вернусь к содержанию этой таблицы, но прежде всего сделаю несколько общих замечаний о характере моей работы. Общее число моих выступлений — 73 в Третьей и 37 в Четвертой Думе — само по себе довольно значительно; но оно еще не дает понятия о количестве труда, положенного на мою думскую работу.

Когда И. И. Петрункевич настаивал на

¹³ П. Н. Милуков. Сборник материалов по чествованию его семидесятилетия 1859–1929, под редакцией С. А. Смирнова, Н. Д. Авксентьева, М. А. Алданова, И. П. Демидова, Г. Б. Слиозберга, А. Ф. Ступницкого. Париж, 1929. (В продажу не поступила).

издании моих речей, я сделал вырезки из отчетов: получился том в 600–700 страниц большого формата, (издание не состоялось). По наказу думские речи должны были продолжаться не больше часа; но в обход наказа, на случай, если речь продолжалась дольше часа, какой-нибудь член фракции записывался говорить после оратора и, по наказу же, мог уступить ему свое место. Мне нередко приходилось пользоваться этой льготой. Но, чтобы сказать такую речь и заставить собрание ее выслушать, требовалась предварительная подготовка. Она, притом, не ограничивалась кабинетной работой, а предполагала участие в комиссии Думы, подготовлявшей доклад по данному вопросу. Левые группы Думы, обыкновенно ограничивавшиеся декларативными выступлениями, могли освободить себя от коммиссионной стадии работы. Мы, при нашем взгляде на характер работы в Думе, этого не могли. Я, в качестве председателя фракции, должен был не только следить за общим ходом дел в Думе, но и знакомиться с материалами, подчас обширными, вносимыми в Думу разными ведомствами, принимать личное участие в разработке их в комиссиях, в которых подготовка доклада получала политическое значение (как, например, в бюджетной), и, наконец, брать на себя специальную работу по вопросам, по которым во фракции не

находилось специализовавшихся сочленов. Все это объясняет то разнообразие тем, на которые мне приходилось говорить в общих собраниях Думы, а также и то количество предварительного труда, которое требовалось употребить на подготовку этих выступлений.

Новое направление деятельности фракции, неизбежно, изменило отношение ее к Центральному комитету партии. Конечно, Центральный комитет в Москве и его отделение в Петербурге продолжали собираться в прежнем составе наших испытанных деятелей. Но некоторые из них, и притом главные, как осужденные по Выборгскому процессу, были формально отброшены от политической деятельности, а ее измельчание отбило у них, вместе с возможностью, и вкус к ее продолжению. Политика большинства Думы была отвратна, роль оппозиции, особенно по началу, казалась бесплодной и второстепенной, характер думской работы — мелким и будничным, а ее темп не давал возможности следить за нею и руководить ею со стороны. По необходимости, моя личная роль становилась гораздо более ответственной, чем прежде, и около меня складывался круг более молодых деятелей, имена которых, через печать, становились известны России. Куда-то, вдаль от нас, ото- двигались и наши партийные группы в провинции. Их общее

настроение, и прежде более левое, не успевало эволюционировать за нами. Партийные съезды собирались все реже; 8-й и 9-й собрались уже при исключительных политических условиях 1917 года. Наша связь с провинцией поддерживалась регулярно издаваемыми отчетами фракции о ее деятельности в Думе; но откликов на эти отчеты было очень мало; до меня они не доходили.

Прежде чем перейти от этих общих замечаний к обзору моей деятельности, связанной с Третьей Государственной Думой, остановлюсь еще на моих личных делах за годы ее существования (1907–1912).

Из сказанного уже видно, что все мое внимание за это время было поглощено политикой. Для личных дел у меня уже почти не оставалось времени. Если мои академические друзья когда-либо могли оплакивать мой уход от научной работы, то это было именно в это десятилетие.

Я не мог даже просматривать прежних моих книг, вышедших новыми изданиями. Моя жена открыла собственное издательство, держала корректуры, сносила с книгопродавцами и вела счета по продаже. В 1910 году умер В. О. Ключевский, и я написал воспоминания о нем. Это было своего рода прощание с периодом научного творчества. За эти годы до его смерти я регулярно посещал Василия Осиповича в

приобретенном им домике в Замоскворечье. Но наши беседы касались той же политики, которую Ключевский заинтересовался со времени своей кандидатуры в выборщики по кадетскому списку. Я ему аккуратно докладывал о ходе дел в Думе и о кулисах русской политики вообще, и наши взгляды вполне сходились.

Даже моя газетная работа сосредоточилась теперь на тех же темах, даваемых повседневной политической жизнью. В дни думских заседаний, общих и комиссионных, я приходил в редакцию поздно, там же писал статьи и передовицы, дремал на знаменитом редакционном кожаном диване в ожидании корректуры и последних известий — и уходил домой, зачастую далеко за полночь. Одно только свое любимое занятие я не прекращал, а расширил: занятие музыкой. У меня на дому регулярно собирался ансамбль в новом составе.

Первую скрипку играл молодой гвардейский офицер Ростовцев, брат знаменитого ученого; партию виолончели исполнял учитель словесности Нелидов, очень культурный человек, заканчивавший писательством свою педагогическую карьеру; партию рояли исполняла жена, я играл на альте или на второй скрипке. На почве музыки в эти годы я также завел знакомство с своей будущей второй женой, Н. В. Лавровой.

Знакомство это началось года за полтора до

этого с мимолетной встречи на вокзале станции в Великих Луках, в ожидании ночного петербургского поезда. Пассажирское движение тогда еще не наладилось, вагоны были переполнены, носильщики отсутствовали, разношерстная публика сидела на чемоданах и на полу, расписание не выполнялось. По соседству я заметил молоденькую миловидную даму, очевидно не привыкшую к таким беспорядкам. Я помог ей перенести багаж и устроиться в купе. Она возвращалась от родных в Томск к мужу — инженеру-строителю на Сибирской дороге; я заканчивал одну из своих предвыборных поездок.

На прощанье я дал ей свою визитную карточку, — карточку неизвестного ей лица, так как политикой она не занималась; ее муж объяснил ей, кто я такой. В какой-то темной истории он был убит рабочими, и Н. В. вернулась в Петербург. Я получил от нее записку, приглашавшую прийти «поскучать за чаем». «Скучать», однако, не пришлось. Нина Васильевна оказалась прекрасной музыкантшей, обладавшей не только блестящей техникой, но и тонким музыкальным вкусом, развитым серьезной консерваторской школой. Она покинула петербургскую консерваторию по настоянию жениха, весьма состоятельного человека, перед самыми выпускными экзаменами, и не смотрела на свое музыкальное образование как

на профессию. Но музыкальное преподавательство было ее любимым занятием, и она рассчитывала, что кое-какие сохранившиеся консерваторские связи помогут ей найти частные уроки. За нею должны были привезти ее малолетнюю дочь Ксению и великолепный рояль Блютнера. Инструмент прибыл благополучно, и начались мои дуэты с взыскательной партнершей, привыкшей к строгой классической музыке. Мне пришлось подтянуться и даже подзубрить Крейцерову сонату Бетховена, чтобы не остаться за флагом. Мало-помалу эти дуэты вошли в привычку, а общие музыкальные вкусы, вместе с личными достоинствами Н. В., создали между нами прочные отношения, которым суждено было продолжаться до конца моей жизни.

Упомяну еще об одной черте, которая проявилась у меня за эти же годы: о вкусе к постоянной оседлости. Мои материальные возможности значительно увеличились в это время. К моему содержанию редактора газеты прибавилось жалование члена Думы; продажа «Очерков», не терявших своей популярности, также давала постоянный дополнительный доход. Я обзавелся постоянной квартирой в одном из компанейских домов, построенных на пустыре Песков, и перебрался туда из Эртелева переулочка. После моей первой поездки в Крым меня тянуло к

южному берегу. Эта тяга увеличилась, когда туда переселился И. И. Петрункевич, заболевший после случайного перелома ноги при выходе из трамвая в Петербурге. Он объявил нам, к нашему большому огорчению, что окончательно отказывается от непосредственного участия в практической политике, и жил в имении падчерицы, графини С. В. Паниной, в Гаспре, где раньше пользовались гостеприимством хозяйки гр. Толстой во время своей болезни и Чехов. Мы приезжали туда на каникулы с женой; А. С. Петрункевич, супруга Ивана Ильича, была хорошей музыкантшей, обожала Бетховена, и, вместе с Полем, известным впоследствии музыкальным критиком, исполнявшим на альте партию виолончели, мы разыгрывали Бетховенские трио.

Счастливым случаем сделал нас собственниками участка, доставшегося по дешевой цене по разделу с пайщиками в нетронутой, дикой местности между мысом Айя и заливом Ласпи, с его рыбаками, ярко описанными в рассказе Куприна. На высоте, над морем, я построил домик, стоивший всего тысячу рублей, но состоявший из четырех комнатушек с восемью кроватями для детей и приезжих. Там мы провели несколько вакаций.

Затем открылась другая возможность — приобрести участок в Финляндии, в местности Ино,

которая начинала заселяться дачниками. Мне было недосужно, но, по сообщая обсужденному плану, жена построила здесь уже большую двухэтажную дачу. Место, выбранное нами, представляло высшую точку берега, и с верхней террасы открывался обширный вид: на востоке блистали в лучах заходящего солнца купола Кронштадта, а на юго-западе ступеньвались в тумане мягкие очертания Лисьего Носа. Однако, обладание этим участком оказалось непродолжительным. В один прекрасный день пришла на мой участок группа генералов и офицеров, я повел их на террасу любоваться видом и сказал между прочим: вот, господа, милости просим сюда, когда приедет в гости Василий Иванович (так называли императора Вильгельма), лучшего места для встречи вы не найдете. Моряки оказались того же мнения и скоро вернулись с обязательным предложением отчудить участок для постройки форта. Отчуждение состоялось; дом был разрушен и на месте моего кабинета стояла дальнобойная пушка. С трех точек — Кронштадта, Лисьего Носа и форта Ино пушечные выстрелы как раз сходились против нашей бывшей дачи, закрывая путь к Петербургу.

Наш интерес к прибрежной местности Финляндии, однако, не был исчерпан первой неудачной попыткой, Мы решили приобрести на полученные от экспроприации средства другой

участок, за пределами новой военной зоны, получили несколько предложений от местных жителей и поехали на поиски. Проездом, мое внимание привлек своим живописным расположением один участок; оказалось, что его можно приобрести за недорогую цену, и мы на нем остановились. Дорога пересекала две половины участка. Верхняя, надгорная часть, густо облесенная соснами, пересекалась ущельем, на дне которого тек ручеек. Мне тотчас представилось доисторическое время, когда ручеек был горным потоком, промывшим себе путь к морю. Ручеек продолжался в нижней части участка, нес с собой отложения гумуса, редкие на этом песчаном берегу. На отлогом спуске образовался луг, кончавшийся заболоченной низиной у самого берега, отделенного лишь узкой полоской ивняка. У входа в нижний участок стояла старинная крестьянская изба, солидно сложенная из толстых бревен красной сосны, давно переведшейся в этой местности. За избой классический четырехугольник полуразвалившихся служб: циклопическая постройка из грубых камней, деревянные амбары и, у самого входа, бревенчатая сторожка, которую можно было превратить в баню.

Лучшего сочетания особенностей всей Финляндии в миниатюре нельзя было найти; мы немедленно приобрели участок, и я принялся за

перестройку. Внутренность моей избы представляла одну огромную комнату, четверть которой была занята такой же огромной старинной печью с обширными полатями и громоздким дымоходом. Я решил разобрать печь и заменить ее кафельной печкой балканского и чешского образца. К стенам я пристроил полки для книг, закрытые дверцами, окрашенными под красное дерево. Получился большой кабинет, куда я перевез часть своей библиотеки, заключавшую в себе исторические журналы, материалы, издания актов и документов, коллекции изданий по географии России, словом, все, в чем я уже не нуждался для текущей работы, кроме сочинений по русской истории. Туда перешел также первоначальный состав моей старой московской библиотеки старых и новых классиков, напоминавший мне историю моего собственного интеллектуального роста. Петербургская часть библиотеки наполнялась уже изданиями, связанными с моей политической работой. Одной большой комнаты было, конечно, мало, и я приступил к пристройкам: со стороны въезда спланировали переднюю, с двумя спальнями по обе стороны. С противоположной стороны была пристроена широкая терраса. Над всем зданием был надстроен верхний этаж легкой постройки со спальнями и с балконом над террасой. На стороне, обращенной к морю, я вывел башенку,

кончавшуюся светелкой, удобной для занятий. Наружный фасад получил вид постройки в стиле германского Fachwerk ¹⁴, каменной кладки по деревянному переплету, принявшему орнаментальные формы и заполненному штукатуркой.

Этот стиль казался мне наиболее подходящим для севера. Все эти пристройки выполнил опытный финский плотник со своим товарищем, по моим планам, за недорогую цену. Получился живописный домик, и наши соседи, семья Леонида Андреева, приходили даже специально его фотографировать. Верхним участком, богатым водой, стекавшей по склону, я воспользовался для обводнения нижнего участка. Я нашел источник, каптировал его и провел трубами воду к постройке, с краном для кухни, шлангами для огорода и даже с водоемом, среди которого бил фонтан с вертевшимися фигурными струями, когда вода не употреблялась для других целей. Я очень любил этот участок, на который было положено много моей личной работы, даже физической. Семья подросших детей, Сергей и Наталия («Така»),

¹⁴ Род постройки домов, при которой наружные стены состоят из рам, заполняемых кирпичом, камнем или глиною. (Прим. ред.).

проводила здесь лето и приезжала на Рождество для зимнего спорта.

Среди верхних сосен мы выбирали место для елки, на нижнем отлогом спуске практиковались на лыжах, замерзшее болотце внизу превращали в каток, и Така подшучивала надо мной, когда я принимал участие в упражнениях, цитируя пушкинский стих: «на тонких лапках гусь тяжелый» и т. д. Летом верхнюю площадку над дорогой мы расчистили и выровняли под теннис.

Эта сельская идиллия, в годы эмиграции, кончилась печально. Мои младшие дети сделались жертвой войны и белой борьбы, а дача была сожжена добрыми финляндскими соседями, чтобы побудить нас продать им участок. Они очень зарились на луг, единственный в окрестностях орошенный водой, и предлагали раньше сдать его им в аренду, на что я не соглашался. Библиотеку я своевременно вывез от нападений «Василия Ивановича» в глухую деревню, где нашел ее, уже при большевиках, и вывез в Америку проф. Франк Гольдер, причем пароход, перевозивший ее, потерпел крушение, и мне пришлось продать ее Stanford University, California, чтобы уплатить премию и кое-что выручить.

Перейду теперь к обзору моей личной деятельности в заседаниях Думы, следуя рубрикам приводимой таблицы (см. приложение 1). Во главе

ее стоят вопросы конституции и государственного права. Здесь мы проводили основные принципы государственного устройства — те же самые, которые были заявлены партией в первых двух Думах.

Но в Третьей приходилось проводить их, исходя скорее от существующего, нежели от желательного. Законодательный почин Государственной Думы был вообще ограничен, и осуществление его предполагало наличие большинства, которого мы не имели. Законодательное предположение могло быть внесено за подписью тридцати членов Думы (а нас было 50); но если оно не отвергалось сразу, то сдавалось в комиссию для предварительного обсуждения его «желательности». Только признанное желательным, оно могло обсуждаться в заседании Думы и быть принято во внимание правительством. Таким образом, нам приходилось, чтобы не разрывать с действительностью, чаще всего проводить свои взгляды, критикуя предположения большинства или заявления и законопроекты правительства. На этой почве мы иногда могли получить и большинство или к нему присоединиться. Характерный пример того, какие комбинации могли при этом получиться, я приведу из первой же сессии Думы. В заседании 24 апреля (это не отмечено в таблице) мне пришлось

выступить в защиту предложения бюджетной комиссии образовать, в порядке думского законодательства, анкетную комиссию для исследования хозяйства железных дорог. Правительство уже с Первой Думы не допускало устройства подобных думских расследований с участием посторонних.

И министр финансов Коковцов, отвечая мне, бросил неосторожную боевую фразу: «Слава Богу, у нас нет парламента». Он, вероятно, хотел сказать: «парламентаризма», т. е. режима министерской ответственности. Против этого возражать было бы невозможно. Но на его фразу я тотчас же ответил: «Слава Богу, у нас есть конституция». В печати я обыкновенно употреблял выражение: «лжеконституционализм» или «псевдо-обновленный строй».

Но здесь подчеркнуть наличность конституционных начал уже в существующих основных законах было совершенно необходимо, так как мы вели борьбу за их расширение и, следовательно, против их огульного отрицания. На другой день октябрист гр. Уваров, отличавшийся тем, что носил в петлице белый цветок в подражание старому Чемберлену, заявил, по поручению своей фракции, что Дума есть тоже парламент, — что было, в общем смысле, совершенно правильно. А председатель Думы,

которым был тогда Н. А. Хомяков, размахнулся на заявление, что выражение Коковцова «неуместно». Этого, конечно, Коковцов не мог стерпеть, и через день, 26 апреля, Хомякову пришлось — очевидно, по требованию правительства — формально взять свои слова обратно и извиниться перед министром с той же председательской трибуны. Дума все-таки приняла предложение бюджетной комиссии, но летом 1908 г. состоялось высочайшее повеление об учреждении анкетной комиссии в порядке верховного управления, с участием назначенных правительством членов Думы и Государственного Совета. И октябристы туда послали своего представителя. Тут сказался весь диапазон думских прав и думского бесправия.

Не останавливаясь здесь на других своих выступлениях по первой рубрике (к ним я вернусь дальше), я перехожу к второй — аграрному вопросу. По первой рубрике мы могли идти общим фронтом с частью большинства. Здесь это было невозможно, так как на конфликте по аграрному вопросу было построено самое существование Третьей Думы. Тем не менее, нашей роли в этом вопросе я приписываю особенное значение — не в виду непосредственных результатов, которые были ничтожны, но в виду того отголоска среди крестьянства, который получили наши выступления против Столыпинско-дворянского

законодательства.

Как известно, немедленно после роспуска Второй Думы, в порядке чрезвычайного внедумского законодательства (статья 87 основных законов), был издан указ 9 ноября 1906 г., предопределивший направление аграрной политики в чисто дворянском духе. Крыжановский утверждал, что Столыпин не прибавил к дворянскому проекту ничего своего. Это было насильственным разрешением спора, который давно уже велся между правым и левым лагерем русской общественности — и который кадетская партия пыталась разрешить в духе разумного компромисса. Со времени крестьянского освобождения 1861 года величина земельного надела, уже тогда отведенного крестьянам в недостаточных размерах, значительно уменьшилась вследствие увеличения населения. «Малоземелье» было признано основной причиной крестьянского обеднения. Устранение этой причины сами крестьяне видели в разделе между ними частновладельческих, дворянских, казенных, дворцовых земель и мечтали добиться этого раздела или от царской власти или революционным путем. Дворяне хотели сохранить не только свои земли, но и рабочие руки, спекулируя на недостаточности наделов и на дорогих ценах аренды крестьянами прилегающих участков. Таким образом крестьяне

были закабалены помещику или местному «кулаку». Другими путями борьбы против малоземелья были — или покупка крестьянами через дворянский и крестьянский банк земель у обедневшего и разорившегося дворянства, или переселение на свободные земли окраин, или — повышение производительности земли путем улучшенных приемов культуры, невозможных в примитивных условиях общинного землевладения. Но продажа дворянских земель быстро ослабляла «правлящий класс»; переселение давно практиковалось, но, несмотря на правительственный оптимизм, уже начинало истощать запас наиболее удобных земель в Сибири. Оставалось разрушение общины по принципу: богатым прибавится, у бедных отнимется. Этим, во-первых, отвлекалось внимание крестьянства от раздела дворянских земель и вбивался клин между зажиточными и бедными крестьянами; во-вторых создавался класс «крепких мужиков», кандидатов на пополнение убывающих рядов «правлящего класса», и, в-третьих, приобреталось либеральное прикрытие классовой реформы: освобождалась частная инициатива и частная собственность от принудительных тисков, в которых оставили крестьян освободители 1861 года. Левая общественность всем этим дворянским планам противопоставляла защиту неотчуждаемости

наделов крестьянской общины, сохранение в ней старых порядков переделов, частичных и общих, удешевление аренды, улучшение продуктивности земледелия путем перехода к кооперативному, машинному и интенсивному хозяйству, но, прежде всего, как ближайший и неизбежный прием против основного зла — крестьянского малоземелья, ту или другую форму принудительной экспроприации частновладельческих земель.

Между этими двумя тенденциями, дворянской и демократической, не могло быть примирения: шла классовая борьба, в которой правительство приняло сторону правящего класса. Третья Дума должна была, при этой поддержке, решить окончательно вопрос в пользу «правящего класса».

Разрушение общины и переход к частному землевладению должны были служить при этом наиболее достижимым способом.

Как требовал закон, указ 9 ноября был внесен немедленно в Думу, и 23 октября 1908 г. началось его обсуждение, продолжавшееся до 8 мая 1909 г. Большинство, в своем стремлении ускорить разрушение общины, пошло еще дальше правительства. Оно ввело в закон постановление, по которому все общины, в которых не было переделов в течение 24 лет, автоматически признавались перешедшими к наследственно-участковому владению, а участки,

которыми крестьяне пользовались ко времени издания закона, тоже автоматически признавались их личной собственностью. Однако, установить факт прекращения переделов, как и указывала оппозиция, оказалось практически трудным, и решение в отдельных случаях было отдано на произвол местных властей и землеустроителей.

Наша фракция организовала энергичную борьбу против этого законопроекта. Выступали, главным образом, Шингарев, прекрасно знавший крестьянскую жизнь по личным наблюдениям в качестве уездного врача в Воронежской губернии, и я, вооруженный своими предыдущими работами по истории крестьянского вопроса до и после освобождения и знакомством с текущей литературой и с трудами русских земских статистиков школы В. И. Покровского. Борьба была упорная, и в ней, к удивлению, я пожал первые серьезные успехи в лагере противников. Меня слушали — и слушали внимательно. А говорил я целых четыре часа, по два часа в двух заседаниях; кажется, это был единственный пример во всей истории Государственных Дум. Но для нас гораздо важнее был успех в другом отношении. Нас слушали крестьяне и священники Третьей Думы, — зависимый, но демократический элемент, — а за ними сведения о нашей борьбе разошлись по России, и к нам направился целый поток

крестьянских ходоков из самых разнообразных концов России. У меня особенно осталось в памяти появление депутации сибирских крестьян, рослых, могучих, волосатых, забронированных в тяжелые, солидные полушубки — ни дать, ни взять, великаны из «Золота Рейна». Увы, ни дать, ни обещать им мы ничего не могли; но для репутации оппозиции в Третьей Думе сделано было очень много. О содержании наших выступлений я не говорю; оно целиком определилось программой левых русских экономистов и проектом партии Народной свободы. Мы не отрицали недостатков общинного хозяйства, признавали и факт постепенного разложения общины под влиянием индивидуалистических стремлений, — о них говорил еще Глеб Успенский, соглашались и на облегчение выхода из общины. Но мы решительно протестовали против насильственного разрушения того единственного оплота, который все еще представляла община против хищнического захвата и распродажи ее наделов сильными элементами деревни, и признавали возможность эволюции общины в направлении кооперации и артельного хозяйства. Мне хорошо было известно, что и сама община не была исконным проявлением русского «духа», как думали славянофилы и народники, а продуктом постепенного закрепления крестьянской рабочей силы помещиками и правительством.

Если в области аграрного вопроса дворянство принуждено было проводить, для сохранения своих интересов, радикальную земельную реформу, то в области управления России тот же «правлящий класс» был заинтересован оставить все по-старому, как повелось со времен дворянского царствования «матушки Екатерины (II)».

Попытка «красных» бюрократов эпохи Александра II — ввести в России более или менее широкое местное самоуправление (земство) осталась недостроенным зданием «без фундамента» (волостное бессловное самоуправление) и «без крыши» (истинное народное представительство). В последовавшую затем эпоху реакции Александра III граф Дмитрий Толстой привел земские учреждения в гармонию с общим дворянским стилем империи. Русской провинцией продолжал управлять дворянин — от старого губернского предводителя дворянства до нового «земского начальника» волости. Что касается органов центрального управления, здесь тоже оставалось в силе изречение, что «дворянство есть тесто, из которого правительство печет чиновника». Правда, на положении исполнителей и, так сказать, чернорабочих, вроде Крыжановского, в министерствах сидели подготовленные люди с университетским стажем, но дух учреждения оставался старый: дух свободы от закона и права.

При таком положении все усилия оппозиции в Государственной Думе в области внутренней политики должны были остаться бесплодными. Недаром над Думой был поставлен страж этого старого «порядка», Государственный Совет. Я помню свое первое впечатление от залы Мариинского дворца, куда члены Думы допускались по билетам на хоры, в качестве публики.

Внизу, на спокойных бархатных креслах мирно дремлют блещущие лысыми старцы, одни имена которых восстанавливают в памяти эпопею русского беззакония и насилия. Здесь, на покое, они доканчивают свою разрушительную карьеру. Блюстители «исторических начал» и политических традиций неограниченной монархии, прочное «средостение» между символом вырождающейся династии и безгласным народом, они обречены на роль не только гасителей благих начинаний Думы, но и гробовщиков России. Какое сравнение между похоронным видом этой залы — и скопированным с европейских парламентов амфитеатром Таврического дворца, со скамей которого неслись заглушенные крики партийной борьбы, все громче напоминавшие о том, что происходило за этими стенами, на необозримых пространствах действительной русской жизни!

На долю нашей фракции — на этот раз вместе

с левыми — выпало передавать эти крики русской действительности через Государственную Думу. Ответственным органом, к которому они обращались, было министерство внутренних дел — орган русского бесправия и произвола. Главной формой этих обращений была так же, как и в первых двух Думах, — форма запросов. Их сила по-прежнему притуплялась тем, что правительство могло отсрочивать свои ответы в течение месяца, — когда запросы теряли значительную долю своей актуальности. Конечно, актуальность не терялась, когда запросы касались не отдельных правонарушений, а прочно укоренившейся практики русского управления.

Мне лично пришлось выступить во второй сессии (13.II) по поводу запроса нашей фракции о деле Азефа. Не помню, тогда ли или несколько позже Столыпин сделал удовольствие себе и правым Думы разоблачить (по доносу Азефа же) мое участие в Парижском съезде конституционных и революционных партий 1905 г., под псевдонимом Александра. В той же сессии я говорил (27.V) о покровительстве министров внутренних дел и юстиции преступлениям, совершенным Союзом русского народа.

К этим темам пришлось вернуться и в пятой сессии в связи с запросом с.-д. о провокации агентов охраны среди членов с.-д. партии (18.XI) и

о насаждении провокации в революционных партиях вообще (30.XI). Но, не ограничиваясь запросами, мы поднимали в этой Думе и коренные вопросы организации местного самоуправления и органов центрального управления и законодательства. Сюда относится моя речь во второй сессии (5.III) с предложением изменить избирательный закон для Государственного Совета.

Я подчеркнул в ней, что наша верхняя палата «является оплотом старого порядка, орудием классовых интересов и тормозом для органического законодательства». В четвертой сессии (19.I) я говорил о вмешательстве правительства в дела земского и городского самоуправления. 29 мая 1909 г. наша фракция внесла законопроект об изменении закона о выборах в Государственную Думу, с целью сохранить избирательное право для кандидатов, не приговоренных судом к лишению прав; это было ответом на отнятие этих прав у выборщиков и на исключение Думой члена партии А. М. Коллюбакина. Конечно, эти демонстративные выступления не были рассчитаны на практический успех. О нарушении правительством основных законов приходилось говорить неоднократно; но к этому я вернусь в следующем разделе. Истощив все средства борьбы с внутренней политикой правительства, фракция решила, наконец, прибегнуть к крайней мере: вопреки своему

правилу голосовать за бюджет, она решила отказать в утверждении сметы министерства внутренних дел. Я мотивировал этот принципиальный шаг в четвертой сессии (26. II) «полным и непримиримым противоречием внутренней политики с основными началами преобразованного государственного строя» и оскорбительными для национального достоинства неудачами во внешней политике, признав подобную политику «антинациональной и антипатриотической». Эта формула повторялась затем, с необходимыми изменениями, ежегодно при отказе в смете, подчеркивая тем, что Дума изменяет даже своим собственным лозунгам.

Одной из первых и важнейших рубрик, конечно, следовало бы поставить финансы и экономику. Но в этой области мое личное участие, около которого я сосредоточиваю здесь свое изложение, является почти полным пробелом. Я всегда считал «право кошелька» тем основным правом народного представительства, за осуществление которого будет бороться — у нас, как везде — всякий состав народного представительства, хотя бы и самый несовершенный. Я рассчитывал, что именно на борьбе за бюджет оппозиция может объединиться с большинством Думы и добиться известной степени независимости народного представительства от правительственной власти. Эти ожидания в

значительной степени и осуществились, поскольку это касается Государственной думы; они разбились лишь перед вне-думским сопротивлением. Но работу по прохождению бюджета в тесном смысле, как сказано выше, очень скоро монополизировал А. И. Шингарев, и я мог быть только благодарен ему за возможность снять с себя этот непосильный груз сверх остальной моей думской работы. Экономическими вопросами, менее других связанными с политикой, занимался Н. Н. Кутлер.

На мою долю остались лишь выступления по сметам отдельных министерств, часто служившие единственным способом реагировать политически на ту или другую сторону государственной жизни.

Это, прежде всего, касалось внешней политики, остававшейся прерогативой монарха и уже потому забронированной от вмешательства Думы. Такой взгляд и пытался провести П. Н. Крупенский в последней сессии Третьей Думы. Извольский нарушил это правило, но при Сазонове министерские выступления прекратились, и о внешней политике можно было говорить в Думе только по поводу сметы министерства иностранных дел. Это и дало мне возможность продолжать мою критику политики Сазонова в третьей, четвертой и пятой сессии Думы (см. таблицу). Но так как мое отношение к внешней политике этим не ограничивалось, то я посвящу моей личной

деятельности в этой области (после 1908–1909 гг.) особый отдел.

Моей специальностью в Думе, в качестве универсанта и автора истории русской культуры, сделались вопросы народного образования и церкви. Вопросам народного образования посчастливилось в этой Думе. Они были настолько выдвинуты передовой литературой, настолько казались бесспорными сами по себе, что сколько-нибудь культурное народное представительство не могло не поставить их на очередь. Правда, и тут правительство вступило в борьбу с общественными начинаниями (главным образом, земскими) и противопоставило им церковно-приходские школы снизу и самый придирчивый бюрократический надзор сверху. Так называемые «монархические» партии и тут шли на поводу у власти. Но октябристские «конституционалисты» колебались и, избегая открытого конфликта, старались сделать, что могли, чтобы продвинуть вперед решение вопроса. Таким образом, на этой почве мы чаще всего могли идти вместе.

Во главе забот русского образованного общества и органов самоуправления было, во-первых, сделать весь народ грамотным и, во-вторых, познакомить его с своей родиной. Но для этого нужно было построить достаточное

количество школ и создать соответствующий корпус учителей. Для того и другого нужны были денежные средства, которых у земства не хватало, так как источники его бюджета были строго урезаны правительством. О программе обучения чтению, письму и элементам родиноведения уже позаботились выдающиеся русские педагоги, как Ушинский, Водовозов, бар. Корф. Новое течение популяризировал и дал образцы его гр. Толстой в своей Ясной Поляне. Правительство, в своей боязни народного просвещения, хотело отдать народную школу под контроль Св. Синода и обучать в ней, по старине, церковно-славянскому языку, церковным службам и пению в церкви. Педагогами должны были быть священники и их незамужние дочери. Борьба шла вовсю, и народное представительство вынуждено было в нее вмешаться.

Третья Дума, в лице октябристского центра и оппозиции, прежде всего позаботилась, в бюджетном порядке, увеличить расходы на народное образование. Уже в 1908 г., сверх сметы, Дума ассигновала на народные школы больше 8 миллионов, столько же в 1909 г. и 10 миллионов в 1910 г. Смета министерства народного просвещения за пять лет существования Третьей Думы была удвоена. В 1910 г. был внесен — и в 1911 г. принят большинством октябристов и оппозиции — законопроект о введении всеобщего

обучения, которое до тех пор введено было только в нескольких уездах России стараниями наиболее передовых земств. В начале 1911 года, вопреки возражениям министра финансов, тем же большинством был принят и финансовый план всеобщего обучения.

Каждый год, в течение десяти лет, к смете должно было прибавляться по десяти миллионов, и к началу 1920-х годов материальная база для достижения всеобщей грамотности должна была быть готова. Что касается организации народной школы, прежде всего она передавалась в ведение земства. Идея непрерывности школы, т. е. связи начального образования с средним и высшим, осуществлялась созданием высших народных училищ по «положению», принятому Думой в том же 1911 году. В местностях, где преобладало инородческое население, допускалось расширение курса обучения на четыре года — на народном языке учащихся. Именно после принятия этого последнего положения думские националисты отказались от участия в дальнейшем обсуждении — и тем признали себя побежденными.

Мое личное участие в этой области выразилось как в стадии комиссионного обсуждения, так и в двух выступлениях в четвертой сессии с критикой законопроекта о всеобщем обучении (18 октября 1910 г.) и с речью о

предоставлении всем народностям права обучения на народном языке (12 ноября 1910 г.).

На область средней и особенно высшей школы либерализм думского большинства не распространялся. В этой области борьба правительства против самых основ русской культуры сделалась традицией. С тех пор как Екатерина II создала, в конце своего царствования, первую, правильно организованную среднюю школу, а Александр I, в первые годы царствования, положил начало сети русских университетов, гонения вновь созданного министерства «народного просвещения» против русского просвещения не прекращались, за исключением блестящей поры реформ Александра II. Под прикрытием идеи свободной науки и свободного преподавания, университетский устав 1863 г., обеспечивавший академическую автономию, был заменен реакционным уставом 1884 года, насильственно проведенным министром Деляновым.

Правда, сама жизнь отменила применение реакционных начал этого устава, а в революционный 1905 год пришлось издать высочайшее повеление о введении университетской автономии. Но с крушением революции этот указ был сведен на-нет, и в 1910 г. в Третью Думу был внесен министром Шварцем проект университетского устава уже без всякой автономии.

Но в том же году новый министр Кассо взял этот проект обратно и начал проводить политику, напомиравшую Рунича и Магницкого.

Ответом на это были студенческие волнения, каких Россия не видала с 1906 г. Теперь, как и раньше, они служили, по вошедшему в употребление старому выражению д-ра Н. И. Пирогова, «барометром общественного настроения» и должны бы были служить предостережением правительству. Но тоже как и раньше — предостережение было понято в обратном смысле и послужило для Кассо поводом к такого рода мероприятиям, которые в образованном обществе XX века произвели впечатление настоящего нашествия варваров. Московская профессура уже с конца XIX века пыталась выступить посредником между властью и студенчеством. Эти попытки в 1911 году повели к небывалому в академической жизни разгрому Московского университета. На меры репрессии часть профессоров ответила добровольными отставками. Кассо ответил общей чисткой; более 100 преподавателей ушли или были выброшены. Кассо назначил на их место своих ставленников.

Подобные же события произошли в Киевском политехническом институте, в Донском институте и в Томском университете. «Неблагонадежные» были заменены «благонадежными», и уровень

преподавания был сильно понижен. Ушли наиболее талантливые и знающие, — в том числе все, кто по политическим взглядам был более или менее близок к оппозиционным партиям.

Это было вторым предостережением правительству, так же не понятым, как и первое.

Естественно, что мои выступления в Думе были преимущественно направлены на борьбу с этими антиобщественными проявлениями власти. Уже в первой сессии (1908) я дважды критиковал политику министерства народного просвещения (3. VI и 9. VI). Но особенно часты стали мои выступления в пятой сессии: дважды в заседаниях 8 и 15 февраля и дважды в заседаниях 7 и 14 марта 1912 г. Два другие выступления (25. X и 16. IV) были посвящены политике того же Кассо в средней школе. С целью изолировать школу от общества, он уничтожил так называемые «родительские комитеты», служившие такой связью. Он также не пошел навстречу желаниям Думы допустить переход из средней школы (кроме гимназии) в высшую и тем сохранил изоляцию средней школы, вопреки упомянутой идее о единой линии образования, господствовавшей в педагогических кругах.

В вопросах церкви и веры, независимо от своего общего мировоззрения, я разделял, как политик, формулу Кавура: *Chiesa libera nel stato*

libero свободная церковь в свободном государстве.

В России церковь с древних времен была порабощена государством, а со времени Петра и обезглавлена; вера была монополизирована официальным исповеданием, считавшимся не только делом личной совести, но и неотъемлемой чертой национальности. Наконец, внутри самой господствующей церкви высшая бюрократия епископов, централизованная в Св. Синоде, порабощала «белое» духовенство, священников городских и сельских, церковную демократию. Все это, во мнении передовых общественных кругов, должно было уступить место режиму свободы веры и самоуправления верующих. Факты окостенения веры и злоупотреблений церковного управления были настолько очевидны для всех, что в более умеренной форме эти взгляды проникали и в среду самих служителей церкви, а через них и в консервативные круги общества. Крайние правые и здесь исполняли веления власти, закостеневшей в сохранении традиции. При Александре III и Николае II (до 17 октября) блюстителем этой традиции был учитель и советник обоих царей, сухой, упрямый фанатик, получивший недаром прозвище Торквемады, К. П. Победоносцев, — принципиальный враг всего, что напоминало свободу и демократию.

Он — один из тех, кто несет главную

ответственность за крушение династии.

Свою деятельность по вероисповедным вопросам Третья Дума начала с очень многообещающих предположений. В основу были положены три правительственных проекта, вносящие в эту замкнутую сферу принципы свободы совести. Один из них покончил даже с монополией господствующей церкви, допуская свободный переход из нее в другие исповедания, включая даже перемену христианской веры на нехристианскую. Другой законопроект снимал преграды, упорно разделявшие старообрядчество от официальной церкви. Открытие старообрядческих общин освобождалось от необходимости разрешения, а производилось путем простого заявления об этом.

Старообрядческое духовенство получило право называться «священнослужителями». Третий законопроект снимал всякие ограничения прав при выходе (или лишении) из духовного звания. Все эти законопроекты подверглись существенным изменениям в комиссии Думы, и в этой работе я непосредственно участвовал. По первому и второму законопроекту мне пришлось выступать и в общем собрании Думы, во вторую сессию 1909 г. (13.V; 15.V; 23.V). Можно было ожидать, конечно, что в Государственном Совете все эти нововведения встретят самое решительное сопротивление и будут

отложены в долгий ящик. По третьему проекту Николай II собственноручно начертил: «не утверждаю» (26 мая 1911 г.). Другие два застряли в Государственном Совете. Само собой разумеется, что признание «внеисповедного состояния», т. е. непринадлежности ни к какой положительной религии, уже совершенно выходило из кругозора Третьей Думы.

Вопросы, касавшиеся непосредственно господствующей церкви, разрабатывались, конечно, в Св. Синоде и в Совете министров, и самое внесение их в Государственную Думу оспаривалось, за исключением того обстоятельства, когда требовались новые денежные ассигнования по бюджету. Наиболее принципиальным из этих вопросов было восстановление полноты церковной организации и иерархии путем созыва поместного собора и выбора на нем, после двухсотлетнего перерыва, нового патриарха. С этими двумя задачами прогрессивная часть духовенства соединяла идею об «обновлении» церкви — о возможности вдохнуть живой дух в омертвевшее тело. В революционный год царь должен был пойти навстречу этим стремлениям. Вместе с свободой совести и религиозной терпимостью указ 17 апреля 1905 г. обещал и созыв поместного собора. Предсоборная комиссия начала подготовительную работу в 1906 г., но с роспуском Первой Думы

закрыла свои заседания. Но Победоносцев был против созыва, и идеей собора завладела консервативная часть духовенства. С появлением на обер-прокурорском посту ставленника Победоносцева, Саблера, это течение окончательно определилось (1911). К этому моменту относится и мое выступление в пятой сессии Думы (4 марта 1912 г.), в котором я пытался вернуть вопрос на принципиальную почву взаимоотношений между церковью и государством. Несмотря на царское обещание — разрешить вопрос к юбилею Романовых (1913), тема эта так и заглохла вплоть до революционного переворота.

Такая же судьба постигла и попытку оживить церковную жизнь снизу, под предлогом возвращения к древним началам устройства православного прихода, когда миряне сами выбирали своего кандидата в священники. Этим вопросом занималась та же предсоборная комиссия 1906 г., и в декабре того же года было высочайше утверждено решение выработать проект организации прихода, не дожидаясь созыва собора. Через год, в декабре 1907 г., другим высочайшим повелением разработка проекта была передана в Синод, и проект внесен в Совет министров. Право мирян выбирать своего священника и право прихода владеть имуществом на правах юридического лица было положено в основу. Но

тут начался обратный ход. Проект четыре раза переделывался и, наконец, со вступлением В. К. Саблера в должность обер-прокурора (1911), был изменен радикально. Права мирян были признаны не соответствующими ни св. Писанию, ни «духу православной церкви». Не помогла и ссылка на древний обычай.

И реформа прихода была положена под сукно.

Казалось, более осуществимо было другое обещание указа 1905 г. пересмотреть в либеральном духе устройство духовной школы. Основной задачей здесь было сделать эту школу не строго конфессиональной, а общеобразовательной, открыв в нее доступ не одним только детям духовенства и согласовав ее программы с соответствующими ступенями светской школы. Таким образом и здесь была бы проведена через все три ступени — низшей, средней и высшей школы, — идея единой цепи образования. Учебный комитет при Св. Синоде готов был превратить в общеобразовательную — низшую школу, четырехклассное духовное училище и даже, при переработке, сделать из нее шестиклассную «прогимназию». Но средняя школа, духовная семинария, должна была остаться строго конфессиональной — без выхода из нее в другие учебные заведения и, как было формулировано при Саблере, служить исключительно для подготовки

пастырей. Высшей школой для нее была — уже чисто богословская духовная академия, ректором которой должен был быть епископ, а большинством преподавателей — лица «православного образа мыслей» и «предпочтительно состоящие в священном сане». Государственная Дума могла высказывать пожелания и должна была ассигновать средства, но по существу вмешательство в дело духовной школы для нее не допускалось. В конце последней сессии царь подчеркнул эту недопустимость в личном обращении к членам Думы.

Насколько в вопросах самоуправления, школы и веры мы все же находили точки соприкосновения с думским центром, настолько же в вопросах национальных нам приходилось вести с ними непрерывную борьбу. Из русского «национализма», русских «национально-исторических» начал большинство этой Думы делало себе политическую рекламу, слепо готовя России рост сепаратистских стремлений. Не только во имя принципиальных соображений, но просто во имя сохранения единства России мы предупреждали против этого губительного пути. Но это направление внутренней политики, в котором искаженное народное представительство шло дальше самого правительства, уже начало приносить отравленные плоды. Далеко было то время (Первой Думы), когда

в Центральном комитете партии Народной свободы участвовали такие видные представители народностей России, как А. Р. Ледницкий (поляк), Я. Чаксте (будущий президент латвийской республики), Я. Я. Теннисон (будущий премьер эстонского правительства), М. С. Аджемов (армянин), М. М. Топчибашев (председатель азербайджанского правительства), И. Я. Шраг (украинский деятель) и др. Теперь представители национальных интеллигенции, лишенные значительной части мандатов в Третьей Думе, перебрались за границу и организовали там пропаганду против России — «тюрьмы народов»...

Моя главная работа по национальным вопросам сосредоточилась, как уже видно по числу моих выступлений, на финляндском вопросе. Когда позднее, в «Земщине» Маркова II, появилось заявление, что я подкуплен финляндцами, мой друг и постоянный защитник О. О. Грузенберг, с своим огненным темпераментом, настоял на том, чтобы я поднял в суде дело о клевете. Как можно было ожидать при тогдашних политических настроениях, суд вынес двусмысленный приговор, оправдав меня, обвинителя, но не обвинив прямо обвиняемых. А я теперь думаю, что я, действительно, был «подкуплен». Меня подкупила симпатия к этому народу — задолго до споров в Третьей Думе.

Еще во времена безумной политики генерал-губернатора Бобрикова, так печально закончившейся террористическим актом 1904 г., я следил со вниманием за героической борьбой всего народа, в строго конституционных формах, против петербургской бюрократии. На парижском съезде мы приняли моральные обязательства по отношению к финляндцам, и Первая Дума эти обязательства исполнила, политическое гостеприимство финляндцев в годы нашей партийной борьбы, мои приезды в Финляндию, а затем и моя постоянная оседлость в крестьянской глуши познакомили меня ближе с финляндским крестьянством.

Я прикоснулся к самому источнику национальной силы этого маленького народа, узнал мужицкое упорство и стойкость в защите прав, фанатическую любовь к родной земле и готовность к жертве, сознательный патриотизм крестьянской массы. Я немного научился финскому языку и мог, с словарем, брести по финской книге, узнал короткую историю фактической независимости этого народа со времени двусмысленного восстановления его «коренных законов» Александром I и недвусмысленного воссоздания государственных учреждений Александром II, который, «оставаясь верен конституционным и монархическим началам, санкционированным

одобрением финляндского народа», еще расширил его права созданием конституции 1869 года, принятой сеймом. Я полюбил этот народ, каким его нашел, — и, да, я был «подкуплен» не до, а после моей публичной защиты его прав и учреждений в Третьей Думе, когда, проснувшись раз утром в своей, еще не перестроенной, крестьянской избе, услышал за окном пение толпы. Это крестьянские парни из соседних ферм пришли меня приветствовать домодельной серенадой, как защитника их родины...

Никакие приветствия и выражения благодарности не могли бы меня так порадовать, как этот простой отклик из недр народной массы. Когда, на парижском съезде 1904 г., я познакомился и подружился с патриархом финляндского сопротивления Мехелином, движение это еще держалось в строго конституционных рамках. Но уже там я столкнулся с представителем нового поколения, «активистом» Циллиакусом, о котором рассказал выше. При общем революционном настроении, активизм уже переходил за пределы конституционной борьбы и стремился к достижению полной независимости Финляндии. Поведение большинства Третьей Думы давало перевес этому новому настроению. Отсюда и мое особенное упорство в защите конституционных прав Финляндии.

Программу борьбы с этими правами Столыпину не было надобности выдумывать. Ее уже составил Плеве, и начал осуществлять Бобриков. Нужно было просто сравнить Финляндию с остальными губерниями России. Правые застрельщики Думы выставили эту цель, по соглашению со Столыпиным, в качестве требования русского народного представительства. Обыкновенно законопроекты залеживались в Думе и застревали в Государственном Совете. Но на этот раз проект общеимперского законодательства прошел законодательные палаты с быстротою экспресса. 17 марта 1910 г. он был передан в комиссию, 23 мая внесен в общее собрание и проведен в три заседания скоропалительно, с нарушением всех правил думской процедуры; прения были срезаны, и оппозиция должна была, исчерпав все средства, демонстративно отказаться от перехода к постатейному обсуждению и даже выйти из залы. 31 мая проект был принят большинством Думы, а 17 июня проведен в Государственном Совете в неизменном виде и стал законом. Всё же мне удалось развить свои возражения и в стадии подготовки, и в стадии обсуждения проекта (в трех заседаниях первой сессии и в пяти заседаниях третьей). Я был хорошо вооружен знанием специальной литературы о предмете, и мне было нетрудно доказать всю

незаконность правительственной и думской затеи. Я не был против самого принципа создания общей процедуры для проведения законов, общих для Финляндии и для России. Но я протестовал против проведения их одними русскими законодательными учреждениями при полном игнорировании соответствующих финляндских учреждений, признанных монархом в качестве «великого князя финляндского».

Я рекомендовал параллельную процедуру с определенными способами соглашения в случае разногласий. Самое содержание «общеимперского» законодательства было легко определить на основании существующих примеров, выделив наиболее важные области общеимперского ведения из остального содержания «местного» законодательства, предоставленного, опять-таки по взаимному согласию, местным финляндским учреждениям. На это соглашались и финляндцы. Когда, тем не менее, русский проект стал односторонним законом, оставалась одна возможность парализовать его действие. Он установил общие положения, но не указал способов их осуществления. Оставалось еще провести конкретно применение закона к частным случаям. Это и было сделано двумя законопроектами, проведенными Столыпиным через Думу в 1911 г. Один восстанавливал действие указа эпохи

Бобрикова, изданного в 1899 г. и уничтожавшего финляндскую крошечную армию с заменой ее денежной повинностью.

Это было в то время главным поводом к финляндскому сопротивлению. Другой законопроект уравнивал русских граждан в правах с финляндскими, что имело вид удовлетворения русскому патриотизму. Но надо вспомнить, что на три миллиона финляндцев в их стране насчитывалось всего около восьми тысяч русских чиновников и дачников. А главное, и эти законы проводились в том же порядке одностороннего русско-имперского законодательства. Мне пришлось опять трижды выступать против этих проектов в пятой сессии Третьей Думы и, конечно, столь же бесплодно. Много позднее, уже в эмиграции, В. А. Маклаков печатно осуждал мою позицию в финляндском вопросе. Но я мог ответить простой ссылкой, что и сам он, в тех же прениях, занимал ту же позицию, — единственно возможную для опытного юриста, как и для осведомленного историка. Финляндцы, конечно, отметили мои возражения — и выпустили их отдельной брошюрой. Прибавлю, что торжествовать «объединителям», как и соучастникам аграрной политики Столыпина, пришлось очень недолго — и оба раза ко вреду для России.

Совершенно иначе сложились мои отношения с поляками. У нас во фракции был один безусловный защитник поляков, Ф. И. Родичев. Горячий поклонник Герцена, он разделял вполне его точку зрения, его политику и его увлечения. Я так далеко идти не мог. Я уже упоминал о моем сдержанном отношении к польским требованиям на парижском съезде 1904 г. Быть может, оттуда пошло и сдержанное отношение ко мне поляков. На московских съездах я со всей искренностью и убежденностью, вопреки даже прямому партийному интересу, защищал идею автономии для Польши и шел рука об руку — и тогда и позднее с таким представителем демократического течения в Польше, каким был А. Р. Ледницкий. Но уже польское коло в Думе было иначе настроено; во Второй Думе оно внесло собственный проект автономии, не считаясь с нами, а в Третьей Думе пошло уже открыто вместе с правительством Столыпина, лишь изредка поддерживая оппозицию своими голосами. На этом сочетании был построен, как я говорил, и «нео-славизм» Крамаржа. В Четвертой Думе депутат Гарусевич подчеркнул неискренность их отношений к нам жестоким Лермонтовским стихом:

Была без радости любовь,
Разлука будет без печали.

Никому из нас не пришло бы в голову подвести такой итог: мы были слишком сентиментальны. У нас была и «печаль», и «радость»... Всё-таки, я должен признать, что не мог симпатизировать польскому социальному строю, как симпатизировал финляндскому. Тот и другой отпечатались на национальном характере обеих народностей. Крестьянская простота и прямолинейность, народный фольклор и поэзия природы, отражения того и другого в литературе меня привлекали. Напротив, аристократический «гонор» и отношения помещика к «хлопу» меня отталкивали. Я, конечно, понимал, что тут мы имеем дело с более сложным социальным организмом, с более высокой интеллигентностью, со старой традицией утраченной государственности, с мистикой национальных мечтаний, с сложными международными отношениями. Но именно это понимание побуждало к большей осторожности. В Москве мы сговорились о восстановлении этнографической границы — той самой, которую потом предложила полякам Версальская конференция («линия Керзона») — и от которой они отказались. Я знал, что от старых лозунгов «от моря до моря», «границы 1772 года» (т. е. до Екатерининских разделов) поляки не отказались. И я не мог не

понимать, что отказ поляков от возвращения независимости мог быть только временным и условным. Мало того, я сам желал восстановления этой независимости, вместе с некоторыми русскими славянофилами; но я понимал и то, что Польша может быть восстановлена только, как целое, т. е. в результате общеевропейского соглашения или европейского конфликта. Наконец, я знал, что польские патриоты отделяют Россию от Европы и себя представляют перед европейским общественным мнением в роли защитников Европы от русского «варварства» — в прошлом, настоящем и будущем. Всё это не могло, конечно, содействовать тесному сближению двух интеллигенции, — и (правдивая) история Мицкевича это показала. Мне пришлось выступить во второй сессии (18.III) в защиту польской нации против выходки министра юстиции. Но вообще это была миссия Ф. И. Родичева.

Конечно, вслед за Плеве националисты Третьей Думы выдвинули и еврейский вопрос. «Жидо-масонская» формула была уже тогда в обороте, и кадеты были специально объявлены «жидо-масонами». Но систематически травля евреев началась после того, как, во время третьей сессии, съездом объединенного дворянства был дан сигнал (в докладе Панчулидзева).

Решено было поднимать еврейский вопрос по

всякому поводу. На этой задаче специализировались Пуришкевич, Замысловский, Марков 2-й.

Шла ли речь об армии, предлагалось исключить евреев из армии; обсуждались ли проекты городского и земского самоуправления, вносились предложения исключить евреев и оттуда; по поводу прений о школе требовалось ограничение приема туда евреев; исключались евреи и из либеральных профессий врачей и адвокатов. На такие выходки можно было возражать только попутно, — что и делалось оппозицией.

Но и центр, и президиум относились к ним сочувственно. Поднят был и вопрос об употреблении евреями христианской крови, в связи с делом об убийстве Ющинского, и в пятой сессии я выступил специально против погромной агитации, которая велась около этого дела (8. VI).

Мне пришлось также возражать переселенческому управлению против отнятия так называемых «излишков» от наделов полукочевых инородцев. Переход к высшей культуре — земледелию — был сам по себе естественным и законным; но он производился с таким произволом и бесцеремонностью, которые, естественно, вызывали крайнее раздражение народностей, потревоженных в их вековом быте. Я, наконец, защищал права обучения народностей на их родном

языке (четвертая сессия, 7. XII и 12. XI).

От вопросов государственной обороны, как сказано выше, мы были искусственно устранены Гучковым в его комиссии. Но это не мешало нам говорить о них в общих собраниях. Дважды я говорил на эту тему в первой сессии (29. XI; 24. V) и столько же раз в последней (7. V; 6. VI). Помимо Думы, к нам прямо обратились молодые флотские офицеры с докладами о необходимости усиления флота. Тут я впервые познакомился с Колчаком, и он произвел на меня очень выгодное впечатление.

Неожиданно много времени мне пришлось потратить на обсуждение — в комиссии и в Думе — законопроекта об авторском праве. Как русский писатель и журналист, я защищал здесь интересы русского читателя от монополии своих и иностранных авторов. Но иностранная точка зрения победила, и оба главные вопроса в этой области — о праве переводов и о сроке авторской собственности — были проведены Думой в смысле, обратном сокращению этих прав. Законопроект был не политический и, несомненно, вносил в действующее право немало серьезных улучшений.

Я должен упомянуть, в заключение, еще об одном отделе фракционной работы, в котором, при всей его важности, я не принимал участия, так как мог всецело положиться на молодого члена фракции В. А. Степанова, специализировавшегося в

этой области. Речь идет о рабочем вопросе. Здесь имелся прецедент в деятельности либеральной фабричной инспекции, и правительство внесло серьезные проекты о страховании рабочих, вознаграждении за несчастные случаи, найме торговых служащих, нормальном отдыхе приказчиков и т. д. В. А. Степанову приходилось бороться против Думы и Государственного Совета за сохранение первоначального духа и за возможное улучшение этих проектов. На вопрос, что сделала Третья Дума по всем этим важным вопросам рабочего законодательства, Степанов сам ответил: «Почти ничего». Он скромно умолчал о собственном труде и о том, что его деятельность, по крайней мере, сохранила в руках фракции инициативу дальнейшего улучшения рабочего законодательства.

6. Разложение думского большинства

Я хотел первоначально назвать этот отдел: «Эволюция Третьей Думы». И в ней, действительно, происходила эволюция, подготовлявшая «эволюцию» Четвертой Думы. Но это был вторичный продукт основного процесса разложения той политической идеи, которая руководила самым созывом Третьей Думы. В цепи

событий, последовавших за октябрьским манифестом, и после разгона двух первых Дум, разложение Третьей представляет новое звено одной и той же нисходящей политической кривой. Ее источника надо искать вне Думы и народного представительства: там же, где и раньше. Разлагающие влияния шли от Двора и от русского дворянства. Оба фактора продолжали добиваться полного возвращения к «историческим началам», обеспечивавшим их господство под эгидой «самодержавия». С существованием народного представительства они вообще не мирились, и борьба, в пределах Третьей Думы, по существу продолжалась по той же линии. Таким образом, основную нисходящую линию представляло «разложение», а «эволюция» была мало заметным пока, хотя и бесспорным началом нового политического восхождения. Оно было представлено не неудавшимся большинством этой Думы, кое-как сколоченным и непрочным, а оппозицией — и именно ее умеренной частью. Левая пока оставалась вне сцены очередной борьбы.

Основным ферментом разложения Третьей Думы явился сам ее творец: П. А. Столыпин. Это может показаться странным, но это было вполне естественно. Столыпин построил здание своего недолгого господства не на прочном фундаменте, а

на зыбучем песке незакончившегося политического обвала. Он не только не мог остановить его, но, напротив, лишь ускорил, благодаря своим личным особенностям.

П. А. Столыпин принадлежал к числу лиц, которые мнили себя спасителями России от ее «великих потрясений». В эту свою задачу он внес свой большой темперамент и свою упрямую волю. Он верил в себя и в свое назначение. Он был, конечно, крупнее многих сановников, сидевших на его месте до и после Витте. Для заслуженных сановников Государственного Совета он был чужим, выскочкой, пришельцем со стороны — и болезненно чувствовал свою изоляцию. Он был призван не на покой, а на проявление твердой власти; власть он любил, к ней стремился и, чтобы удержать ее в своих руках, был готов пойти на многое и многим пожертвовать. Не чуждый идеологий, которые были традицией в его семье, он был не чужд и интриги. Своих союзников он склонен был трактовать, как очередные орудия своего продвижения к власти, и менять их по мере надобности. Если принять в расчет его нетерпение победить и короткий срок его взлета, эта быстрая смена могла легко превратить вчерашних друзей в соперников и врагов — и раздражать покровителей сменой внезапных капризов.

А главным покровителем был царь, не

любивший, чтобы им управляла чужая воля. Такова история возвышения и падения Столыпина, вернувшая его в конце к одиночеству, из которого он вышел, и к трагической развязке. Призванный спасти Россию от революции, он кончил ролью русского Фомы Бекета¹⁵.

Напомню здесь первые стадии Столыпинского взлета к власти. Я приводил подозрение Коковцова перед роспуском Думы, что Столыпину «улыбалась в ту пору идея министерства из людей, облеченных общественным доверием». Она мелькала и в приведенном разговоре со мной на Аптекарском острове. Но, убедившись в том, что он в такое министерство не попадет, — и став окончательно на точку зрения Горемыкина и Коковцова о необходимости роспуска Думы, он перешел ко второй стадии. Роспуск был решен, но... роспуск «либеральный». Кадеты негодились для этого; очередь была за мирнообновленцами.

Я приводил выше прямое заявление Столыпина об этом Д. Н. Шилову: «роспуск Думы

15 Английский канцлер и затем архиепископ Кентерберийский в XII веке, известный конфликтом с королем Генрихом II из-за посягательств последнего на права духовенства. После примирения с королем Фома Бекет был, в 1171 г., убит в соборе в Кентербери. (Примеч. ред.).

должен быть произведен обновленным правительством, имеющим во главе общественного деятеля, пользующегося доверием в широких кругах общества». Для меня нет сомнения, что этот план был внушен царю именно Столыпиным, а не Коковцовым, и тем менее — Горемыкиным. Царь принял его не только потому, что не вполне прекратились его собственные колебания относительно роспуска, о которых рассказано выше. Другой мотив, более реалистический, можно найти в тогдашней переписке Извольского с гр. Бенкендорфом. Роспуска Думы боялись, как перед Европой, так и перед Россией. В письме Бенкендорфа от 14 (27) июня 1906 г. читаем: «Это министерство (Горемыкина) мне кажется осужденным: Дума, в том виде, как она есть, рано или поздно — также... Но не теперешнее министерство может распустить Думу. Один факт, что это министерство возьмет на себя ответственность за эту меру, повлечет за собой, во-первых, материальную опасность, а затем выборы с еще худшими результатами...

Мне кажется, что надо составить кабинет из либерального, но умеренного меньшинства этой Думы; он... имел бы бесконечно больше морального авторитета. Такой кабинет был бы при первом же голосовании оставлен в меньшинстве и мог бы приступить к роспуску с гораздо большими

шансами на успех. Я не вижу другого способа избежать красной Думы или военной репрессии». Этот прототип парламентарного разрешения вопроса упростился в Петербурге до кабинета Шипова с участием Столыпина, а орган самого Столыпина, «Россия», пугал даже в эти дни вмешательством Германии и Австрии.

Я приводил отказ Шипова от этой неблагодарной роли в его замечательном разговоре с царем 28 июня 1906 г. На нем и оборвалась вторая стадия тактики Столыпина. Дальше начинается третья стадия, которую уже трудно назвать иначе, чем интригой. Интересно отметить, что при этом даже ближайший сообщник, Коковцов, был устранен Столыпиным от непосредственных сношений с царем; было решено, что Столыпин заменит Горемыкина на месте премьера; были одобрены царем даже и все практические меры к роспуску, включая дату 9 июля. Царь «благословил Столыпина иконой» (см. выше мой подробный рассказ). Затем Столыпин обманул Думу относительно воскресной даты ее роспуска, назначив на понедельник свое собственное выступление в Думе и тем обезоружив все еще опасного противника.

Итак, в третьей, решающей стадии Столыпин сделал сам себя героем роспуска Первой Думы. Но этим его политическая эволюция не, могла

закончиться. Пройти четвертую стадию — роспуска Второй Думы — было даже гораздо легче. Как и предвидели благоразумные люди — эта Дума оказалась «красной» и легко уязвимой. Но зато и победа над ней стоила гораздо дешевле. Героев здесь не понадобилось. Из незаменимого спасителя Столыпин спускался на роль исполнителя чужих приказаний. «Черный крест», поставленный Пуришкевичем над Второй Думой, был первым сигналом, раздавшимся из авангарда замаскированных заговорщиков. Избирательный *сoup d'etat*¹⁶, подготовленный Крыжановским по заказу дворянства, был выстрелом из дальнобойного орудия; аграрный законопроект Гурко и Ко. — знаменем, развернутым на месте победы. Но где был настоящий победитель? Среди этих сил Столыпин действовал по проторенному пути, без всякого риска, хотя и с вошедшим уже в привычку коварством. Но с этого рода союзниками он, все же, чувствовал себя неловко. «Оттенок благородства» надо было соблюсти; идея «либерального» роспуска не совсем заглохла; она выразилась в союзе Столыпина о Гучковым. Мы видели, однако, что союзники разошлись с самого начала по самому основному вопросу русского

¹⁶ Государственный переворот.

государственного строя. Союз напоминал Крыловскую басню о лебеде, раке и щуке, с той только разницей, что октябристские «облака» висели слишком низко, рак оказался самым сильным партнером, а роль щуки, потопившей себя, пришлось сыграть самому Столыпину. Такое «сложение сил» было первородным грехом Третьей Думы. Начиналась пятая, предпоследняя стадия Столыпинской тактики: его дальнейшее отступление вправо.

Едва ли Столыпин ожидал, что разложение его большинства начнется немедленно же — на самой опасной для него почве борьбы за пределы прерогативы монарха и законодательных учреждений, и что на эту шаткую почву его втянет главный его союзник Гучков. После своих спортсменских поездок к бурам и на Дальний Восток, Гучков считал себя знатоком военного дела и специализировался в Думе на вопросах военного перевооружения России. Это было и патриотично и эффектно. Он при этом монополизировал военные вопросы в созданной им комиссии, из которой исключил своих соперников из оппозиции под предлогом сохранения государственной тайны. Я тогда же протестовал от имени фракции против такого способа беречь государственные секреты и монополизировать права Государственной Думы в целом (первая сессия, 29. XI; 24.V). Случай для

конфликта тотчас представился.

Порядки морского ведомства были притчей во языцех в Петербурге; морские офицеры ходили не к одним нам, пропагандируя реформы и ожидая выступления со стороны Думы. Гучков узнавал секреты ведомства и более прямым путем. И мы совместно с октябристами провели отказ в кредите по смете морского ведомства на постройку четырех новых броненосцев. Ведомство от этого не пострадало, так как кредит был восстановлен Государственным Советом. Но впечатление было произведено. Оно было еще усилено эффектной речью Гучкова во время обсуждения сметы; довольно прозрачно он намекнул на великих князей, как на источник ведомственных беспорядков.

Столыпин тотчас почувствовал опасность и 13 июня 1908 г. в речи в Государственном Совете дал первый сторожевой окрик своему союзнику. Он передвинул «демаркационную линию» между тем, что дозволено и не дозволено все равно, «своим или чужим». Но правые поспешили воспользоваться этим поводом. На рождественском съезде «объединенного дворянства» решено было перейти в наступление с определенной целью вновь изменить избирательный закон и восстановить старый строй. Правые выискивали все случаи обвинить Думу в нарушении прав монарха. К

Гучкову была пришта кличка «младотурка», вызвавшая при Дворе неприятные ассоциации и положившая начало ненависти к Гучкову.

А тут присоединилось новое обстоятельство. В конце весенней сессии 1908 г. Государственный Совет отверг принятый Думой довольно второстепенный проект о штатах Морского Генерального штаба — на том основании, что Дума может только разрешать денежные ассигновки, но не утверждать штаты. Осенью 1908 г. штаты прошли вторично — и в Думе, и в Совете, причем правительство утверждало, что никакого вторжения в прерогативы монарха тут нет. Тогда вмешались высшие сферы. Летом 1909 г. проект не удостоился высочайшего одобрения, и на имя Столыпина был опубликован рескрипт, которым требовалось составить правила, которые бы определенно разграничили компетенцию правительства и законодательных палат в военном и морском законодательстве.

Тем временем, в марте и апреле 1909 г., П. А. Столыпин лечился в Крыму. В его отсутствие пошли впервые слухи, что он к своему месту не вернется. С своей стороны, и Столыпин принял меры самозащиты. «Новое время», где сотрудничал брат Столыпина, несколько позднее сообщило, что Столыпин, «морально ослабленный историей с морскими штатами», уже тогда «осторожно